

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

СТИХИ



ВЛАДИМИР НАБΟΚОВ

СТИХИИ

АРДИС / АНН АРБОР

ARDIS / ANN ARBOR

В. Набоков
СТИХИ

Copyright © 1979 by Vladimir Nabokov Estate

Published by Ardis,
2901 Heatherway
Ann Arbor, Michigan 48104

ISBN 0-88233-291-0 (cloth)
ISBN 0-88233-292-9 (paperback)

Some poems in this volume previously appeared in:

Возвращение Чорба — Copyright © 1930 by Vladimir Nabokov
Стихотворения 1929-51 — Copyright © 1952 by Vladimir Nabokov
Poems and Problems — Copyright © 1970 by Vladimir Nabokov

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот сборник — почти полное собрание стихов, написанных Владимиром Набоковым. Не вошли в него только, во-первых, совсем ранние произведения, во-вторых такие, которые по форме и содержанию слишком похожи на другие и, в третьих, такие, в которых он находил формальные недостатки. Отбор был сделан самим автором. Он собирался сделать еще один, более строгий сборник, но не успел.

Теперь, посылая этот сборник в печать, хочу обратить внимание читателя на главную тему Набокова. Она, кажется, не была никем отмечена, а между тем ею пропитано все, что он писал; она, как некий водяной знак, символизирует все его творчество. Я говорю о „потусторонности“, как он сам ее назвал в своем последнем стихотворении „Влюбленность“. Тема эта намечается уже в таких ранних произведениях Набокова, как „Еще безмолвствую и крепну я в тиши...“, просвечивает в „Как я люблю тебя“ („...и в вечное пройти украдкой насквозь“), в „Вечере на пустыре“ („...оттого что закрыто неплотно, и уже невозможно отнять...“), и во многих других его произведениях. Но ближе всего он к ней подошел в стихотворении „Слава“, где он определил ее совершенно откровенно как тайну, которую носит в душе и выдать которую не должен и не может.

Этой тайне он был причастен много лет, почти не сознавая ее, и это она давала ему его невозмутимую жизнерадостность и ясность даже при самых тяжелых переживаниях и делала его совершенно неуязвимым для всяких самых глупых или злостных нападок.

„Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
а точнее сказать я не вправе.“

Чтобы еще точнее понять, о чем идет речь, предлагаю читателю ознакомиться с описанием Федором Годуновым-Чердынцевым своего отца в романе „Дар“ (стр. 130, второй абзац, и продолжение на

стр. 131).

Сам Набоков считал, что все его стихи распадаются на несколько разделов. В своем предисловии к сборнику *Poems and Problems* (Стихи и задачи) он писал: „То, что можно несколько выпспренно назвать европейским периодом моего стихотворчества, как будто распадается на несколько отдельных фаз: первоначальная, банальные любовные стихи (в этом издании не представлена); период, отражающий полное отвержение так называемой октябрьской революции; и период, продолжавшийся далеко за двадцатый год, некоего частного ретроспективно-ностальгического кураторства, а также стремления развить византийскую образность (некоторые читатели ошибочно усматривали в этом интерес к религии — интерес, который для меня ограничивался литературной стилизацией); а затем, в течение десятка лет, я видел свою задачу в том, чтобы каждое стихотворение имело сюжет и изложение (это было как бы реакцией против унылой, худосочной „парижской школы” эмигрантской поэзии); и наконец, в конце тридцатых годов и в течение последующих десятилетий, внезапное освобождение от этих добровольно принятых на себя оков, выразившееся в уменьшении продукции и в запоздалом открытии твердого стиля”. Однако такие стихи, как например „Вечер на пустыре” (1932 г.) или „Снег” (1930 г.) тоже относятся скорее к этому последнему периоду.

Почти все собранные здесь стихи были напечатаны в эмигрантских газетах и журналах вскоре после их написания. Многие появились в печати по два или три раза. Многие вошли потом в сборники: „Возвращение Чорба” (24 стихотворения и 14 рассказов, Берлин, „Слово”, 1930 г.); „Стихотворения 1929-1951 гг.” (Париж, „Рифма”, 1952 г.); *Poesie* (16 русских стихотворений — из издания „Рифма” — и 14 английских стихотворений, в итальянском переводе, с оригинальным текстом *en regard*, (Милан, Il Saggiatore, 1962); *Poems and Problems* (39 русских стихотворений с английскими переводами, 14 английских стихотворений и 18 шахматных задач, Нью-Йорк, McGraw Hill, 1970).

Вера Набокова

СТИХИ

ДОЖДЬ ПРОЛЕТЕЛ

Дождь пролетел и сгорел налету.
Иду по румяной дорожке.
Иволги свищут, рябины в цвету,
Белеют на ивах сережки.

Воздух живителен, влажен, душист.
Как жимолость благоухает!
Кончиком вниз наклоняется лист
И с кончика жемчуг роняет.

Выра, 1917 г.

К СВОБОДЕ

Ты медленно бредешь по улицам бессонным;
на горестном челе нет прежнего луча,
зовущего к любви и высям озаренным.
В одной руке дрожит потухшая свеча.
Крыло подбитое по трупам волоча
И заслоняя взор локтем окровавленным,
обманутая вновь, ты вновь уходишь прочь,
а за тобой, увы, стоит все та же ночь.

Крым, 1917 г.

ПОЭТ

Среди обугленных развалин,
среди унижительных могил
— не безнадёжен, не печален,
но полон жизни, полон сил —

с моею музою незримой
так беззаботно я брожу
и с радостью неизъяснимой
на небо ясное гляжу.

Я над собою солнце вижу
и сладостные слезы лью,
и никого я не обижу,
и никого не люблю.

Иное счастье мне доступно,
я предаюсь иной тоске,
а все, что жалко иль преступно,
осталось где-то вдалеке.

Там занимаются пожары,
там, сполохами окружен,
мир сотрясается, и старый
переступается закон.

Там опьяневшие народы
ведет безумие само,
— и вот на чучеле свободы
бессменной пошлости клеймо.

Я в стороне. Молюсь, ликую,
и ничего не надо мне,
когда вселенную я чую
в своей душевной глубине.

То я беседую с волнами,
то с ветром, с птицей уношусь
и со святыми небесами
мечтами чистыми делюсь.

В хрустальный шар заключены мы были,
и мимо звезд летели мы с тобой,
стремительно, безмолвно мы скользили
из блеска в блеск блаженно-голубой.

И не было ни прошлого, ни цели;
нас вечности восторг соединил;
по небесам, обнявшись, мы летели,
ослеплены улыбками светил.

Но чей-то вздох разбил наш шар хрустальный,
остановил наш огненный порыв
и поцелуй прервал наш безначальный,
и в пленный мир нас бросил, разлучив.

И на земле мы многое забыли:
лишь изредка вспомнится во сне
и трепет наш, и трепет звездной пыли,
и чудный гул, дрожавший в вышине.

Хоть мы грустим и радуемся розно,
твое лицо, средь всех прекрасных лиц,
могу узнать по этой пыли звездной,
оставшейся на кончиках ресниц...

Крым, 1918 г.

Ты на небе облачко нежное,
ты пена прозрачная на море,
ты тень от мимозы на мраморе,
ты эхо души неизбежное...
И песня звенит безначальная.
Зову ли тебя — откликаешься,
ищу ли — молчишь и скрываешься,
найду ли? Не знаю, о Дальняя.

Ты сон навеваешь таинственный.
Взволнован я ночью туманною,
живу я мечтой несказанною,
дышу я любовью единственной.
И счастье мне грезится дальнее,
и снится мне встреча блаженная,
и песня звенит вдохновенная,
свиваясь в кольцо обручальное.

Крым, 1918 г.

РОССИЯ

Не все ли равно мне, рабой ли, наемницей,
иль просто безумной тебя назовут?
Ты светишь... Взгляну — и мне счастье вспомнится.
Да, эти лучи не зайдут.

Ты в страсти моей и в страданиях торжественных,
и в женском медлительном взгляде была.
В полях озаренных, холодных и девственных,
цветком голубым ты цвела.

Ты осень водила по рощам заплаканным,
весной целовала ресницы мои.
Ты в душных церквах повторяла за дьяконом
слепые слова ектеньи.

Ты летом за нивой звенела зарницами;
в день зимний я в инее видел твой лик.
Ты ночью склонялась со мной над страницами
властительных, песенных книг.

Была ты и будешь. Таинственно создан я
из блеска и дымки твоих облаков.
Когда надо мною ночь плещется звездная,
я слышу твой реющий зов.

Ты — в сердце, Россия. Ты — цель и подножие,
ты — в ропоте крови, в смятенье мечты.
И мне ли плутать в этот век бездорожия?
Мне светишь по-прежнему ты.

Крым, 1918 г.

АРХАНГЕЛЫ

Поставь на правый путь. Сомнения развеи.
Ночь давит над землей, и ночь в душе моей.
Поставь на правый путь.

И страшно мне уснуть, и бодрствовать невмочь.
Небытия намек я чую в эту ночь.
И страшно мне уснуть.

Я верю — ты придешь, наставник неземной,
на миг, на краткий миг восстанешь предо мной.
Я верю, ты придешь.

Ты знаешь мира ложь, бессилье, сумрак наш,
невидимого мне попутчика ты дашь.
Ты знаешь мира ложь.

И вот подходишь ты. Не мею и дрожу,
движение верное руки твоей слежу.
И вот отходишь ты.

Средь чуждой темноты я вижу путь прямой.
О, дух пророческий, ты говоришь, он мой
Средь чуждой темноты...

Но я боюсь идти: могу свернуть, упасть.
И лстива, и страшна ночного беса власть,
О, я боюсь идти.

„Не бойся: по пути ты не один пойдешь.
Не будешь ты один и если соскользнешь
с высокого пути...”

Крым, 1918 г.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Час задумчивый строгого ужина,
предсказания измен и разлуки.
Озаряет ночная жемчужина
олеандровые лепестки.

Наклонился апостол к апостолу.
У Христа — серебристые руки.
Ясно молятся свечи, и по столу
ночные ползут мотыльки.

Крым, 1918 г.

/Отрывок/

Твоих одежд воздушных я коснулся,
и мелкие посыпались цветы
из облака благоуханной ткани.
Стояли мы на белых ступенях,
в полдневный час, у моря, — и на юге,
сверкая, колебались корабли.
Спросила ты:

что на земле прекрасней
темнолиловых лепестков фиалок,
разбросанных по мрамору?

Твои
глаза, твои покорные глаза,
я отвечал.

Потом мы побрели
вдоль берега, ладонями блуждая
по краю бледно-каменной ограды.
Синела даль. Ты слабо улыбалась,
любясь парусами кораблей,
как будто вырезанными из солнца.

Крым, 1918 г.

ДВИЖЕНЬЕ

Искусственное тел передвижение
— вот разума древнейшая любовь,
и в этом жадно ищет отраженья
под кожей кружащаяся кровь.

Чу! По мосту над бешеною бездной
чудовище с зарницей на хребте
как бы грозой неистово-железной
проносится в гремящей темноте.

И чуя, как добычу, берег дальний,
стоокие, по морокам морей
плывут и плещут музыкою бальной
чертоги исполинских кораблей.

Наклон, оправданное вычисленье,
да четкий, повторяющийся взрыв
— и вот оно, Дедала сновиденье,
взлетает, крылья струнные раскрыв.

Крым, 1918 г.

РЫЦАРЬ

Я в замке. Ночь. Свод сумрачно-дубовый.
Вдоль смутных стен портретов смутный ряд.
Я не один: в углу — средневековый
суровый страж, составленный из лат.

Он в полутьме, как сон убийцы хмурый,
стоял с копьём в закованной руке.
Я расставлял огромные фигуры
при трех свечах на шахматной доске.

И вот огонь угрюмый отсвет кинул
на рыцаря — и видел, слышал я:
он медленно забрало отодвинул,
и звякнула стальная чешуя.

Он подошел тяжелою походкой,
стуча копьём и латами звеня;
сел предо мной и руку поднял четко,
и стал играть, не глядя на меня.

Взор опутив и трепетом объятый,
бессмысленно я пешки выдвигал.
Жемчужные и черные квадраты
крылатый ветер, дохнув, перемешал.

Последнею пожертвовал я пешкой,
шепнул: „сдаюсь”, и победитель мой
с какою-то знакомою усмешкой,
привстав, ко мне нагнулся над доской...

Очнулся я. Недвижно рыцарь хмурый
стоит в углу с копьем своим в руке,
и на местах все тридцать две фигуры
передо мной на шахматной доске.

18.3.19.

ЕЩЕ БЕЗМОЛВСТВУЮ

Еще безмолвствую и крепну я в тиши.
Созданий будущих заоблачные грани
еще скрываются во мгле моей души,
как выси горные в предутреннем тумане.

Приветствую тебя, мой неизбежный день.
Все шире, шире даль, светлей, разнообразней,
и на звенящую, на первую ступень
всхожу, исполненный блаженства и боязни.

Крым, 1919 г.

НОМЕР В ГОСТИНИЦЕ

Не то кровать, не то скамья.
Угрюмо-желтые обои.
Два стула. Зеркало кривое.
Мы входим — я и тень моя.

Окно со звоном открываем:
спадает отблеск до земли.
Ночь бездыханна. Псы вдали
тишь рассекают пестрым лаем.

Я замираю у окна,
и в черной чаше небосвода,
как золотая капля меда,
сверкает сладостно луна.

Севастополь, 1919 г.

АКРОПОЛЬ

Чей шаг за мной? Чей шелестит виссон?
Кто там поет пред мрамором богини?
Ты, мысль моя. В резной тени колонн
как бы звенят порывы дивных линий.

Я рад всему. Струясь в Эрехтейон,
мне льстит лазурь и моря блеск павлиний;
спускаюсь вниз, и вот запечатлен
в пыли веков мой след, от солнца синий.

Во мглу, во глубь хочу на миг сойти:
там, чудится, по млечному пути
былых времен, сквозь сумрак молчаливый

в певучем сне таинственно летишь...
О, как свежа, благоговейна тишь
в святилище, где дышит тень оливы!

Англия, 1919 г.

FOOTBALL

Я видел, за тобой шел юноша, похожий
на многих; знал я все: походку, трубку, смех.
Да и таких, как ты, немало ведь, — и что же,
люблю по-разному их всех.

Вы проходили там, где дружественно-рьяно
играли мы, кружась под зимней синевой.
Отрадная игра! Широкая поляна;
пестрят рубашки; мяч живой

то мечется в ногах, как молния кривая,
то — выстрела звучней — взвивается, и вот
подпрыгиваю я, с размаху прерывая
его стремительный полет.

Увидя мой удар, уверенно-умелый,
спросила ты, следя вращающийся мяч:
знаком ли он тебе — вон тот, в фуфайке белой,
худой, лохматый, как скрипач.

Твой спутник отвечал, что, кажется, я родом
из дикой той страны, где каплет кровь на снег,
и, трубку пососав, заметил мимоходом,
что я — приятный человек.

И дальше вы пошли. Туманясь, удалился
твой голос солнечный. Я видел, как твой друг
последовал, дымя, потом остановился
и трубкой стукнул о каблук.

А там все прыгал мяч, и ведать не могли вы,
что вот один из тех беспечных игроков
в молчанье, по ночам, творит, неторопливый,
созвучья для иных веков.

Кембридж, 1919 г.

LA MORTE D'ARTHUR

Все, что я видел, но забыл,
ты, сказка гулкая, напомни;
да: робким рыцарем я был,
и пряжка резала плечо мне.

Да. Злая встреча у ручья
в тот вечер шелково-зеленый,
кольчуги вражьей чешуя
и конь под траурной попоной.

16.12.19.

Будь со мной прозрачнее и проще:
у меня осталась ты одна.
Дом сожжен и вырублены рощи,
Где моя туманилась весна,

где березы грезили, и дятел
по стволу постукивал... В бою
безысходном друга я утратил,
а потом и родину мою.

И во сне я с призраками реял,
наяву с блудницами блуждал;
и в горах я вымыслы развеял,
и в морях я песни растерял.

А теперь о прошлом суждено мне
тосковать у твоего огня.
Будь нежней, будь искреннее. Помни,
Ты одна осталась у меня.

12. 11. 19.

У КАМИНА

Ночь. И с тонким чешуйчатым шумом
зацветающие угольки
расправляют в камине угрюмом
огневые свои лепестки.

И гляжу я, виски зажимая,
в золотые глаза угольков,
я гляжу, изумленно внимая
голосам моих первых стихов.

Серафимом незримым согреты,
оживают слова, как цветы:
узнаю понемногу приметы
вдохновившей меня красоты;

воскрешаю я все, что бывало,
хоть на миг умилило меня:
ствол сосны пламенеющий, алый
на закате июльского дня...

13. 3. 20.

Посв. матери

Людам ты скажешь: настало.
Завтра я в путь соберусь.
(Голуби. Двор постоянный.
Ржавая вывеска: Русь) .

Скажешь ты Богу: я дома.
(Кладбище. Мост. Поворот) .
Будет старик незнакомый
Вместо дубка у ворот.

Кембридж, 3. 5. 20.

ТЕЛЕГРАФНЫЕ СТОЛБЫ

Столбов однообразных придорожных
фарфоровые бубенцы и шесть
гудящих струн.

Скользит за вестью весть
— шум голосов бесчисленных, тревожных
и жалобных, скользит из края в край.

И ты — на бледной полосе дороги,
ты, странник загорелый, босоногий,
замедли шаг и с ветром замирай,
внимая проплывающему пенью.

Гудит, гудит уныние равнин,
и каждый столб ложится длинной тенью,
и путь далек, и ты один...

11. 5. 20.

Когда, мечтательно склонившись у дверей,
ночь придает очарованье
печалям жизненным, я чувствую острее
свое ненужное призванье.

Ненужное тебе, рабыня губ моих,
и от тебя его я скрою,
и скрою от друзей, нечистых и пустых,
полузавистливых порою.

Деревья вешние в мерцающих венцах,
улыбка нищего, тень дыма,
тень думы — вижу все; в природе и в сердцах
мне ясно то, что вам незримо.

От счастья плачет ночь, и вся земля в цвету...
Благоговею, вспоминаю,
творю — и этот свет на вашу слепоту
я никогда не променяю!

Кембридж, 12. 5. 20.

В неволе я, в неволе я, в неволе!
На пыльном подоконнике моем
следы локтей. Передо мною дом
туманится. От несравненной боли
я изнемог... Над крышей, на спине
готического голого уродца,
как белый голубь, дремлет месяц... Мне
так грустно, мне так грустно... С кем бороться
— не знаю, Боже. И кому помочь
— не знаю тоже... Льется, льется ночь
(о, как ты, ласковая, одинока!);
два голоса несутся издалека;
туман луны стекает по стенам;
влюбленных двое обнялись в тумане...
Да, о таких рассказывают нам
шарманки выцветших воспоминаний
и шелестящие сердца старинных книг.
Влюбленные. В мой переулочек узкий
они вошли. Мне кажется на миг,
что тихо говорят они по-русски.

Кембридж, 31. 5. 20.

РОМАНС

И на берег весенний пришли мы назад
сквозь туман исступленных растений.
По сырому песку перед нами скользят
наши узкие черные тени.

Ты о прошлом твердишь, о разбитой волне,
а над морем, над золотоглазым,
кипарисы на склонах струятся к луне,
и внимаю я райским рассказам.

Отражаясь в воде, колокольчики звезд
непонятно звенят, а над морем
повисает горящий, змеящийся мост,
и как дети о прошлом мы спорим.

Вспоминаем порывы разбрызганных дней.
Это больно, и это не нужно...
Мы идем, и следы наших голых ступней
наполняются влагой жемчужной.

Кембридж, 8. 6. 20.

ЛАСТОЧКИ

Инок ласковый, мы реем
над твоим монастырем,
да над озером, горящим
синеватым серебром.

Завтра, милый, улетаем
— утром сонным в сентябре.
В Цареграде — на закате,
в Назарете — на заре.

Но на север мы в апреле
возвращаемся, и вот
ты срываешь, инок тонкий,
первый ландыш у ворот;

и не понимая птичьих
маленьких и звонких слов,
ты нас видишь над крестами
бирюзовых куполов.

10. 6. 20.

ТАК БУДЕТ

С собакою седой, которая когда-то,
смеясь по-своему, глядела мне в глаза,
ты выйдешь ввечеру, и месяц, как слеза,
прольется на цветы последние заката.

Над книжкой, в полутьме блеснувшей белизной,
склони ты голову, склони воспоминанья,
прими, пойми стихи, задуманные мной
на дальней пристани в ночь звездную изгнанья.

Ты будешь тосковать, угадывая, чья
лепечущая тень печалила поэта.
Ты вспомнишь свежие и сладостные лета,
золотоствольный лес и встречи у ручья.

И улыбнешься ты загадочно, и сядешь
на мшистую скамью в лесу на склоне дня,
и светлой веткою черемухи погладишь
собаку старую, забывшую меня.

Кембридж, 11. 6. 20.

Я без слез не могу
тебя видеть, весна.
Вот стою на лугу,
да и плачу навзрыд.

А ты ходишь кругом,
зеленея, шурша...
Ах, откуда она,
эта жгучая грусть!

Я и сам не пойму;
только знаю одно:
если б иволга вдруг
зазвенела в лесу,

если б вдруг мне в глаза
мокрый ландыш блеснул —
в этот миг, на лугу,
я бы умер, весна...

1920 г.

КАШТАНЫ

Цветущие каштаны, словно храмы
открытые, сияют вдоль реки.
Их красоту задуют ветерки
зазорные, но в этот вечер — самый
весенний из весенних вечеров —
они чудесней всех твоих даров,
незримый Зодчий! Кто-то тихо, чисто
в цветах звенит (кто, ангел или дрозд?),
и тени изумрудные слоистой
листвы и грозди розовые звезд
в воде отражены.

Я здесь, упрямый,
юродивый, у паперти стою
и чуда жду, и видят грусть мою
каштаны, восхитительные храмы...

Кембридж, 1920 г.

И. А. БУНИНУ

Как воды гор, твой голос горд и чист.
Алмазный стих наполнен райским медом.
Ты любишь мир и юный месяц, лист,
желтеющий над смуглым сочным плодом.

Ты любишь змей, тяжелых злых узлов
лиловый лоск на дне сухой ложбины.
Ты любишь снежный шелест голубиный
вокруг лазурных, влажных куполов.

Твой стих роскошный и скупой, холодный
и жгучий стих один горит, один
над маревом губительных годин,
и весь в цветах твой жертвенник свободный.

Он каплет в ночь росой ледяной
и янтарями благовоний знойных,
и нагота твоих созвучий стройных
сияет мне как бы сквозь шелк цветной.

Безвестен я и молод в мире новом,
кощунственном, но светит все ясней
мой строгий путь: ни помыслом, ни словом
не согрешу пред музою твоей.

1920 г.

Разгорается высь,
тает снег на горе.
Пробудись, отзовись,
говори о заре.
Таает снег на горе
пред пещерой моей,
и вся даль в серебре
осторожных лучей.
Повторяй мне, душа,
что сегодня весна,
что земля хороша,
что и смерть не страшна;
что над первой травой
дышит горный цветок,
наряженный в живой
мягко-белый пушок;
что лепечут ручьи,
и сверкают кругом
золотые струи;
что во всех и во всем
тихий Бог, тайный Бог
неизменно живет;
что весенний цветок
ветерок, небосвод,
нежных тучек кайма
и скала, и поток,
и, душа, ты сама —
все одно, и все — Бог.

1920 г.

В РАЮ

Здравствуй, смерть! — и спутник крылатый,
объясняя, в рай уведет,
но внезапно зеленый, зубчатый,
нежный лес предо мною мелькнет.

И немой, в лучистой одежде,
я рванусь и в чаще найду
прежний дом мой земной, и как прежде
дверь заплачет, когда я войду.

Одуванчик тучки апрельской
в голубом окошке моем,
да диван из березы карельской,
да семья мотыльков под стеклом.

Буду снова земным поэтом:
на столе открыта тетрадь...
Если Богу расскажут об этом,
Он не станет меня укорять.

Кембридж, 1920.

ПИР

Так лучезарна жизнь, и радостей так много.
От неба звездного чуть слышный веет звон:
бесчисленных гостей полны чертоги Бога;
в один из них я приглашен.

Как нищий, я пришел; но дали мне у двери
одежды светлые, и распахнулся мир:
со стен расписанных глядят цветы и звери,
и звучен многолюдный пир.

Сию я и дивлюсь... По временам бесшумно
дверь открывается в мерцающую тьму.
Порою хмурится сосед мой неразумный,
а я — я радуюсь всему,

и смоквам розовым, и сморщенным орехам,
и чаше бражистой, и дани желтых пчел;
и часто на меня со светлым, тихим смехом
хозяин смотрит через стол.

22.5.21.

ТРИСТАН

1

По водам траурным и лунным
не лебедь легкая плывет,
плывет ладья и звоном струнным
луну лилейную зовет.

Под небом нежным и блестящим
ладью, поющую во сне,
с увещеваньем шелестящим
волна передает волне.

В ней рыцарь раненый и юный
склонен на блеклые шелка,
и арфы ледяные струны
ласкает бледная рука.

И веют корабли далече,
и не узнают никогла,
что это плачет и лепечет
— луна ли, ветер, иль вода...

Я странник. Я Тристан. Я в рощах спал душистых
и спал на ложе изо льда.

Изольда, золото волос твоих волнистых
во сне являлось мне всегда.

Деревья надо мной цветущие змеились;
другие, легкие, как сны,
мерцали белизной. Изольда, мы сходились
под сенью сумрачной сосны.

Я тигра обагрят средь тьмы и аромата,
и бег лисицы голубой
я по снегу следил. Изольда, мы когда-то
вдвоем охотились с тобой.

Встречал я по пути гигантов белоглазых,
пушистых, сморщенных детей.
В полночных небесах, Изольда, в их алмазах
ты не прочтешь судьбы моей.

1921 г.

ОБЛАКА

1

На солнце зóлотом сверкает дождь летучий,
озера в небесах синеют горячо,
и туча белая из-за лиловой тучи
встает, как голое плечо.

Молчи, остановись... Роняют слезы рая
соцветья вешние, склонясь через плетень,
и на твоём лице играет их сырая,
благоухающая тень.

Не двигайся, молчи. Тень эту голубую
я поцелуями любовно обогну.
Цветы колышутся... я счастлив. Я целую
запечатленную весну.

Закатные люблю я облака:
над ровными, далекими лугами
они висят гроздистыми венками,
и даль горит, и молятся луга.

Я внемлю им. Душа моя строга,
овеяна безвестными веками:
с кудрявыми багряными богами
я рядом плыл в те вольные века.

Я облаком в вечерний чистый час
вставал, пылал, туманился и гас,
чтоб вспыхнуть вновь с зарею неминучей.

Я облетал все зримое кругом,
блаженствовал и, помню, был влеком
жемчужной тенью, женственной тучей.

Берлин, 1921 г.

В ПОЕЗДЕ

Я выехал давно, и вечер неродной
рдел над равниною нерусской,
и стихословили колеса подо мной,
и я уснул на лавке узкой.

Мне снились дачные вокзалы, смех, весна,
и, окруженный тряской бездной,
очнулся я, привстал, и ночь была душна,
и замедлялся ямб железный.

По занавеске свет, как призрак, проходил.
Внимая трепету и тренью
сморкающих колес, я раму опустил:
пахнуло сыростью, сиренью.

Была передо мной вся молодость моя:
плетень, рябина подле клена,
чернеющий навес и мокрая скамья,
и станционная икона.

И это длилось миг... Блестя, поплыли прочь
скамья, кусты, фонарь смиренный.
Вот хлынула опять чудовищная ночь,
и мчусь я, крошечный и пленный.

Дорога черная, без цели, без конца,
толчки глухие, вздох и выдох,
и жалоба колес, как повесть беглеца
о прежних тюрьмах и обидах.

Груневальд, 4. 7. 21.

Кто меня повезет
по ухабам домой,
мимо сизых болот
и струящихся нив?
Кто укажет кнутом,
обернувшись ко мне,
меж берез и рябин
зеленеющий дом?
Кто откроет мне дверь?
Кто заплачет в сенях?
А теперь — вот теперь —
есть ли там кто-нибудь,
кто почуял бы вдруг,
что в далеком краю
я брожу и пою,
под луной, о былом?

Берлин, 1921 г.

ПЕРО

Зелененьким юрким внучатам
наказывал леший в бору:
„по черным ветвям, по зубчатым,
жар-птица порхнет ввечеру;

поймайте ее, лешенечки,
и клетку из лунных лучей
возьмите у ключницы-ночки,
да так, чтоб не видел Кощей.

Далече от чащи брусничной
умчите добычу свою;
найдете вы домик кирпичный
в заморском, туманном краю.

Оставьте ее на пороге:
там кроткий изгнанник живет;
Любил он лесные дороги
и вольный зеленый народ.”

Так дедушка-леший на ели
шушукал, и вот ввечеру,
как струны, стволы зазвенели,
и что-то мелькнуло в бору.

Маячило, билось, блестело,
Заохал, нахохлился дед...
Родимые, знать, улетела
жар-птица из пестрых тенет.

Но утром, как пламя живое,
на пыльном пороге моем

лежало перо огневое
с цветным удлинённым глазком.

Ну что ж, и за этот подарок
спасибо, лесные друзья.
Я беден, и день мой неяркий,
и как же обрадован я.

Кембридж, 7. 6. 21.

Мечтал я о тебе так часто, так давно,
за много лет до нашей встречи,
когда сидел один, и кралась ночь в окно,
и перемигивались свечи.

И книгу о любви, о дымке над Невой,
о неге роз и море мгlistом
я перелистывал, и чуял образ твой
в стихе восторженном и чистом.

Дни юности моей, хмельные сны земли,
мне в этот миг волшебнo-звонкий
казались жалкими, как мошки, что ползли
в янтарном блеске по клеенке.

Я звал тебя, я ждал. Шли годы. Я бродил
по склонам жизни каменистым
и в горькие часы твой образ находил
в стихе восторженном и чистом.

И ныне, наяву, ты, легкая, пришла,
и вспоминаю суеверно,
как те глубокие созвучья-зеркала
тебя предсказывали верно.

6. 7. 21.

Как было бы легко, как песенно, как дружно
 мои моления бы неслись,
когда бы мы в саду, во храме ночи южной
 с тобой нечаянно сошлись.

Свет лунный по кустам, как лоск на мокрых сливах,
 там серебрится средь полян.
Бестрепетны цветы. В аллеях молчаливых
 медвяный, бархатный туман.

И ветерок вдали рождается, и вскоре
 вдыхает жимолость во сне.
За кипарисами угадываешь море.
 Чу! Море молится луне.

Скользит оно, скользит, сокрытой страстью вея,
 и слышишь, и не слышишь ты,
и смутный мотылек, жужжа и розовея,
 считает смутные цветы.

9. 7. 21.

От взгляда, лепета, улыбки
в душе глубокой иногда
свет загорается незыбкий,
восходит крупная звезда.

И жить не стыдно и не больно;
мгновенье учишься ценить,
и слова одного довольно,
чтоб все земное объяснить.

Груневальд, 31. 7. 21.

Позволь мечтать... Ты первое страданье
и счастье последнее мое.
Я чувствую движение и дыхание
твоей души... Я чувствую ее,
как дальнее и трепетное пенье...
Позволь мечтать, о, чистая струна!
Позволь рыдать и верить в упоенье,
что жизнь, как ты, лишь музыки полна.

6. 8. 21.

Мерцательные тикают пружинки,
и осыпаются календари.
Кружатся то стрекозы, то снежинки,
и от зари недолго до зари.

Но в темном переулке жизни милой,
как в городке на берегу морском,
есть некий гул; он дышит смутной силой,
он ширится; он с детства мне знаком.

И ночью перезвоном волн, да кликом
струн, дальних струн, неисчислимых струн
взволнован мрак, и в трепете великом
встаю на зов, доверчив, светел, юн...

Как чувствуешь чужой души участие,
я чувствую, что ночи звезд полны;
а жизнь летит, горит и гаснет счастье,
и от весны недолго до весны.

14. 8. 21.

РОЖДЕСТВО

Мой календарь полу-опалый
пунцовой цифрою зацвел;
на стекла пальмы и опалы
мороз колдующий навел.

Перистым вылился узором,
лучистой выгнулся дугой,
и мандаринами и бором
в гостинной пахнет голубой.

Берлин, 23. 9. 21.

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

Стою я на крыльце. Напротив обитает
ценитель древностей; в окошке пастушок
точёный выставлен. В лазури тучка тает,
как розовый пушок.

Гляди, фарфоровый, блестящий человечек:
чернеют близ меня два голых деревца,
и сколько золотых рассыпанных сердечек
на ступенях крыльца.

Кембридж, 8. 11. 21.

ДОМОЙ

На мызу, милые! Ямщик
вожжею овода прогонит,
и — с Богом! Жаворонок тонет
в звенящем небе, и велик
и свеж, и светел мир, омытый
недавним ливнем: благодать,
благоуханье. Что гадать?
Все ясно, ясно; мне открыты
все тайны счастья; вот оно:
сырой дороги блеск лиловый;
по сторонам то куст ольховый,
то ива; бледное пятно
усадьбы дальней; рощи, нивы,
среди колосьев васильки;
зеленый склон; изгиб ленивый
знакомой тинистой реки.
Скорее, милые! Рокочет
мост под копытами. Скорей!
И сердце бьется, сердце хочет
взлететь и перегнать коней.
О, звуки, полные былого!
Мои деревья, ветер мой
и слезы чудные, и слово
непостижимое: домой!

/1917-1922/

ВЕЛОСИПЕДИСТ

Мне снились полевые дали,
дороги белой полоса,
руль низкий, быстрые педали,
два серебристых колеса.

Восторг мне снился, буйно-юный,
и упоенье быстроты,
и меж столбов стальные струны,
и тень стремительной версты.

Поля, поля, и над равниной
ворона тяжело летит.
Под узкой и упругой шиной
песок бежит и шелестит.

Деревня. Длинная канава.
Сирень цветущая вокруг
избушек серых. Слева, справа
мальчишки выбегают вдруг.

Вдогонку шапку тот бросает,
тот кличет тонким голоском,
и звонко собачонка лает,
вертясь пред зыбким колесом.

И вновь поля, и голубеет
над ними чистый небосвод.
Я мчусь, и солнце спину греет,
и вот неожиданно поворот.

Колеса косо пробегают,
не попадая в колею.

Деревья шумно обступают.
Я вижу старую скамью.

Но разглядеть не успеваю,
чей вензель вырезан на ней.
Я мимо, мимо пролетаю,
и утихает шум ветвей.

/1917-1922/

БАБОЧКА
(Vanessa antiopa)

Бархатно-черная, с теплым отливом сливы созревшей,
вот распахнулась она; сквозь этот бархат живой
сладостно светится ряд васильково-лазоревых зерен
вдоль круговой бахромы, желтой, как зыбкая рожь.
Села на ствол, и дышат зубчатые нежные крылья,
то припадая к коре, то обращаясь к лучам...
О, как ликуют они, как мерцают божественно! Скажешь:
голубокая ночь в раме двух палевых зорь.
Здравствуй, о, здравствуй, греза березовой северной рощи!
Трепет и смех, и любовь юности вечной моей.
Да, я узнаю тебя в Серафиме при дивном свиданье,
крылья узнаю твои, этот священный узор.

/1917-1922/

КОНИ

Гнедые, грузные, по зелени сырой
весенней пажити, под тусклыми дубами,
они чуть двигались и мягкими губами
вбирали сочные былинки, и зарей,
вечернею зарей полнеба розовело.

И показалось мне, что время обмертвело,
что вечно предо мной стояли эти три
чудовищных коня; и медные отливы
на гривах медлили, и были молчаливы
дубы священные под крыльями зари.

/1917-1922/

ПЬЯНЫЙ РЫЦАРЬ

С тонким псом и смуглым кубком
жарко-рдяного вина,
ночью лунной, в замке деда
я загрязил у окна.

В длинном платье изумрудном,
вдоль дубравы, на коне
в серых яблоках, ты плавно
проскакала при луне.

Встал я, гончую окликнул,
вывел лучшего коня,
рыскал, рыскал по дубраве,
спотыкаясь и звеня;

и всего-то только видел,
что под трефовой листвой
жемчужовые подковы,
оброненные луной.

/1917-1922/

Я думаю о ней, о девочке, о дальней,
и вижу белую кувшинку на реке,
и реющих стрижей, и в сломанной купальне
стрекозку на доске.

Там, там встречались мы и весело оттуда
пускались странствовать по шепчущим лесам,
где луч в зеленой мгле являл за чудом чудо,
блистая по листам.

Мы шарили во всех сокровищницах Божьих;
мы в ивовом кусте отыскивали с ней
то лаковых жучков, то гусениц, похожих
на шахматных коней.

И ведали мы все тропинки дорогие,
и всем березанькам давали имена,
и младшую из них мы назвали: Мария
святая Белизна.

О Боже! Я готов за вечными стенами
неисчислимые страдания воспринять,
но дай нам, дай нам вновь под теми деревцами
хоть миг, да постоять.

/1917-1922/

ЗНАЕШЬ ВЕРУ МОЮ?

Слышишь иволгу в сердце моем шелестящем?
Голубою весной облака я люблю,
райский сахар на блюде блестящем;
и люблю я, как льются под осень дожди,
и под пестрыми кленами пеструю слякоть.
Есть такие закаты, что хочется плакать,
а иному шепнешь: подожди.
Если ветер ты любишь и ветки сырые,
Божьи звезды и Божьих зверьков,
если видишь при сладостном слове „Россия”
только даль и дожди золотые, косые
и в колосьях лазурь васильков,
— я тебя полюблю, как люблю я могучий,
пышный шорох лесов, и закаты, и тучи,
и мохнатых цветных червяков;
полюблю я тебя оттого, что заметишь
все пылинки в луче бытия,
скажешь солнцу: спасибо, что светишь.

Вот вся вера моя.

1922 г.

Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит!
Как тесно яблоки висят!
Как бы сквозь них, блаженно солнце светит,
стекая в сад.

И сонный, сладостный, в аллеях лепет слышен:
то словно каплет на песок
тяжелых груш, пурпурных поздних вишен
пахучий сок.

На выгнутых стволах цветные тени тают;
на листьях солнечный отлив...
Деревья спят, и осы не слетают
с лиловых слив.

Кто выйдет ввечеру? Кто плод поднимет спелый?
Кто вертограда господин?
В тени аллей, один, лилейно-белый,
живет павлин.

1922 г.

ПАСХА

На смерть отца
Я вижу облако сияющее, крышу
блестящую вдали, как зеркало... Я слышу,
как дышит тень и каплет свет...
Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня
синеет влажный мир, грядет весна Господня,
растет, зовет... Тебя же нет.

Но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капли —
не ослепительная ложь,
а трепетный призыв, сладчайшее „воскресни”,
великое „цвети”, — тогда ты в этой песне,
ты в этом блеске, ты живешь!..

1922 г.

ГРИБЫ

У входа в парк, в узорах летних дней
 скамейка светит, ждет кого-то.
На столике железном перед ней
 грибы разложены для счета.

Малютки русого боровика —
 что пальчики на детской ножке.
Их извлекла так бережно рука
 из темных люлек вдоль дорожки.

И красные грибы: иголки, слизь
 на шляпках выгнутых дырявых;
они во мраке влажном вознеслись
 под хвоей елочек, в канавах.

И бурых подберезовиков ряд,
 таких родных, пахучих, мшистых,
и слезы леса летнего горят
 на корешочках их пятнистых.

А на скамейке белой — посмотри —
 плетеная корзинка боком
лежит, и вся испачкана внутри
 черничным лиловатым соком.

13. 11. 22.

Ясноокий, как рыцарь из рати Христовой,
на простор выезжаю, и солнце со мной;
и последние стрелы дождя золотого
шелестят над истомой земной.

В золотое мерцанье, смиренный и смелый,
выезжаю из мрака на легком коне:
Этот конь — ослепительно, сказочно белый,
словно яблонный цвет при луне.

И сияющий дождь, золотясь, замирая
и опять загораясь — летит, и звучит
то земным изумленьем, то трепетом рая,
ударяя в мой пламенный щит.

И на латы слетает то роза, то пламя,
и в лазури живой над грозой бытия
вольно плещет мое лебединое знамя,
неподкупная юность моя!

1. 12. 22.

ВОЛЧОНОК

Один, в рождественскую ночь, скулит
и ежится волчонок желтоглазый.
В седом лесу зеленый свет разлит,
на пухлых елочках алмазы.

Мерцают звезды на ковре небес,
мерцаая, ангелам щекочут пятки.
Взъерошенный волчонок ждет чудес,
а лес молчит, седой и гладкий.

Но ангелы в обителях своих
все ходят и советуются тихо,
и вот один прикинулся из них
большой пушистою волчихой.

И к нежным волочащимся сосцам
зверек припал, пыхтя и жмурясь жадно.
Волчонку, елкам, звездным небесам,
всем было в эту ночь отрадно.

8. 12. 22.

Как объясню? Есть в памяти лучи
сокрытые; порою встрепется
дремавший луч. О, муза, научи:
в понятный стих как призрак перельется?
Проезжий праздный в городе чужом,
я, невзначай, перед каким-то домом,
бессмысленно, пронзительно знакомым...
Стой! Может быть, в стихах мы только лжем,
темним и рвем сквозную мысль в угоду
размеру? Нет, я верую в свободу
разумную гармонии живой.
Ты понимаешь, муза, перед домом
мне, вольному бродяге, незнакомым,
и мне — родным, стою я сам не свой
и, к тайному прислушиваясь пенью,
все мелочи мгновенно узнаю:
в сплошном окне косую кисею,
столбы крыльца, и над его ступенью
я чувствую тень шага моего,
иную жизнь, иную чую участь
(дай мне слова, дай мне слова, певучесть),
все узнаю, не зная ничего.

Какая жизнь, какой же век всплывает,
в безвестных безднах памяти звеня?
Моя душа, как женщина, скрывает
и возраст свой, и опыт от меня.
Я вижу сны. Скитаюсь и гадаю.
В чужих краях жду поздних поездов.
Склоняюсь в гул зеркальных городов,
по улицам волнующим блуждаю:

дома, дома; проулок; поворот
— и вот опять стою я перед домом
пронзительно, пронзительно знакомым,
и что-то мысль мою темнит и рвет.

Stettin, 10. 12. 22.

В. Ш.

Если ветер судьбы, ради шутки,
дохнув, забросит меня
в тот город желанный и жуткий,
где ты вянешь день ото дня,

и если на улице яркой
иль в гостях, у новых друзей,
или там, у дворца, под аркой,
среди лунных круглых теней,

мы встретимся вновь, — о, Боже,
как мы будем плакать тогда
о том, что мы стали несхожи
за эти глухие года;

о юности, в юность влюбленной,
о великой ее мечте;
о том, что дома на Мильонной
на вид уж совсем не те.

1922 г. (?)

FINIS

Не надо плакать. Видишь, там — звезда,
там — над листвою, справа. Ах, не надо,
прошу тебя! О чем я начал? Да,
— о той звезде над чернотою сада;

на ней живут, быть может... что же ты,
опять! Смотри же, я совсем спокоен,
совсем... Ты слушай дальше: день был зноен,
мы шли на холм, где красные цветы...

Не то. О чем я говорил? Есть слово:
любовь, — глухой глагол: любить... Цветы
какие-то мне помешали. Ты
должна простить. Ну вот — ты плачешь снова.

Не надо слез! Ах, кто так мучит нас?
Не надо помнить, ничего не надо...
Вон там — звезда над чернотою сада...
Скажи — а вдруг проснемся мы сейчас?

9. 1. 23.

Я видел смерть твою, но праздную мольбой
в час невозможный не обидел
голубогрудых птиц, дарованных тобой,
поющих в памяти. Я видел.

Я видел: ты плыла в серебряном гробу,
и над тобою звезды плыли,
и стыли на руках, на мертвом легком лбу
концы сырые длинных лилий.

Я знаю: нет тебя. Зачем же мне молва
необычайная перечит?
„Да полно, — говорит, — она жива, жива,
все так же пляшет и лепечет.”

Не верю... Мало ли, что люди говорят.
Мой Бог и я — мы лучше знаем...
Глаза твои, глаза в раю теперь горят:
разлучены мы только раем.

10. 1. 23.

Как затаю, что искони кочую,
что, с виду радостен и прост,
в душе своей невыносимо чую
громады, гул, кишенье звезд?

Я, жадный и дивящийся ребенок,
я, скрученный из гулких жил,
жемчужных дуг и алых перепонок, —
я ведаю, что вечно жил.

И за бессонные зоны странствий,
на всех звездах, где боль и Бог,
в горящем, оглушительном пространстве
я многое постигнуть мог.

И трудно мне свой чудно-бесполезный
огонь сдержать, крыло согнуть,
чтоб невзначай дыханьем звездной бездны
земного счастья не спугнуть.

13. 1. 23.

ЖЕМЧУГ

Посланный мудрейшим властелином
страстных мук изведать глубину,
тот блажен, кто руки сложит клином
и скользнет, как бронзовый, ко дну.

Там, исполнен сумрачного гуда,
среди морских свивающихся звезд,
зачерпнет он раковину: чудо
будет в ней, лоснящийся нарост.

И тогда он вынырнет, раздвинув
яркими кругами водный лоск,
и спокойно улыбнется, вынув
из ноздрей побагровевший воск.

Я сошел в свою глухую муку,
я на дне. Но снизу, сквозь струи,
все же внемлю шелковому звуку
уносящейся твоей ладьи.

14. 1. 23.

СОН

Знаешь, знаешь, обморочно-пьяно
снилось мне, что в пропасти окна
высилась, как череп великана,
костяная, круглая луна.

Снилось мне, что на кровати, криво
выгнувшись под вздутой простыней,
всю подушку заливая гривой,
конь лежал атласно-вороной.

А вверху — часы стенные, с бледным,
бледным человеческим лицом,
поводили маятником медным,
полосуя сердце мне концом.

Сонник мой не знает сна такого,
промолчал, притих перед бедой
сонник мой с закладкой васильковой
на странице, читанной с тобой...

15. 1. 23.

В каком раю впервые прожурчали
истоки сновиденья моего?
Где жили мы, где встретились вначале,
мое кочующее волшебство?

Неслись века. При Августе, из Рима
я выслал в Байи голого гонца
с мольбой к тебе, но ты неуловима
и сказочной осталась до конца.

И не грустила ты, когда при звоне
сирийских стрел и рыцарских мечей
мне снилось: ты — за пряжей, на балконе,
под стражей провансальских тополей.

Среди шелков, левреток, винограда
играла ты, когда я по нагим
волнам в неведомое Эльдорадо
был генуэзским гением гоним.

Ты знаешь, калиостровой науки
мы оправданьем были: годы шли,
вставали за разлуками разлуки
тоской богов и музыкой земли.

И снова в Термидоре одурелом,
пока в тюрьме душа тобой цвела,
а дверь мою тюремщик метил мелом,
ты в Кобленце так весело жила...

И вдоль Невы, всю ночь не спав, раз двести
лепажи зарядив и разрядив,
я шел, веселый, к Делии — к невесте,
все вальсы ей коварные простив.

А после, после, став вполоборота,
так поднимая руку, чтобы грудь
прикрыть локтем, я целился в кого-то,
и не успел тугой курок пригнуть.

Вставали за разлуками разлуки,
и вновь я здесь, и вновь мелькнула ты,
и вновь я обречен извечной муке
твоей неуловимой красоты.

16. 1. 23.

В кастальском переулке есть лавчонка:
колдун в очках и сизом сюртуке
слова, поблескивающие звонко,
там продает поэтовой тоске.

Там в беспорядке пестром и громоздком
кинжалы, четки — сказочный товар!
В углу — крыло, закапанное воском,
с пометкою привешенной: Икар.

По розам голубым, по пыльным книгам
ползет ручная древняя змея.
И я вошел, заплаканный, и мигом
смекнул колдун, откуда родом я.

Принес футляр малиново-зеленый,
оттуда лиру вытащил колдун,
новейшую: большой позолоченный
хомут и проволоки вместо струн.

Я отстранил ее... Тогда другую
он выложил: старинную в сухих
и мелких розах — лиру дорогую,
но слишком нежную для рук моих.

Затем мы с ним смотрели самоцветы,
янтарные, сапфирные слова,
слова-туманы и слова-рассветы,
слова бессилия и торжества.

И куклою, и завитками урны
колдун учтиво соблазнял меня;
с любовью гладил волосок лазурный
из гривы баснословного коня.

Быть может, впрямь он был необычаен,
но я вздохнул, откинул огоньки
камней, клинков — и вышел; а хозяин
глядел мне вслед, подняв на лоб очки.

Я не нашел. С усмешкою суровой
сложи, колдун, сокровища свои.
Что нужно мне? Одно простое слово
для горя человеческой любви.

17. 1. 23.

...И все, что было, все, что будет,
и золотую жажду жить,
и то бессонное, что нудит
на звуки душу разложить,

все объясняли, вызывали
глаза возлюбленной земной,
когда из сумрака всплывали
они, как царство, предо мной.

18. 1. 23.

Я где-то за городом, в поле,
и звезды гулом неземным
плывут, и сердце вздулось к ним,
как темный купол гулкой боли.

И в некий напряженный свод
— и все труднее, все суровей —
в моих бессонных жилах бьет
глухое всхлипывание крови.

Но в этой пустоте ночной,
при этом голом звездном гуле,
вложу ли в барабан резной
тугой и тусклый жемчуг пули,

и дула кисловатый лед
прижав о высохшее небо,
в бесплотный ринусь ли полет
из разорвавшегося гроба?

Или достойно дар приму
великолепный и тяжелый
— всю полнозвучность ночи голой
и горя творческую тьму?

20. 1. 23.

ТРАМВАЙ

Вот он летит, огнями ночь пробив,
крылатые рассыпав перезвоны,
и гром колес, как песнопений взрыв,
а стекла — озаренные иконы.

И спереди — горящее число
и рая обычайное название.
Мгновенное томит очарованье
— и нет его, погасло, пронесло.

И в пенье ускользающего гула
и в углубленье ночи неживой —
как бы зарница зыбкой синевой
за ним на повороте полыхнула.

Он пролетел, и не осмыслить мне,
что через час мелькнет зарница эта
и стрекотом, и судорогой света
по занавеске... там... в твоём окне.

21. 1. 23.

ПИСЬМА

Вот письма, все — твои (уже на сгибах тают
следы карандаша порывистого) . Днем,
сложившись, спят они, в сухих цветах, в моем
душистом ящике, а ночью — вылетают,
полупрозрачные и слабые, скользят
и вьются надо мной, как бабочки: иную
поймаю пальцами, и на лазурь ночную
гляжу через нее, и звезды в ней сквозят.

23. 1. 23.

День за днем, цветущий и летучий,
мчится в ночь, и вот уже мертво
царство исполинское, дремучий
папоротник счастья моего.

Но хранится, под землей беспечной,
в сердце сокровенного пласта
отпечаток веерный и вечный,
призрак стрекозы, узор листа.

24. 1. 23.

ЭФЕМЕРЫ

Посв. В. И. Полю

Спадая ризою с дымящихся высот
крутого рая — Слава! Слава! —
клубится без конца, пылает и ползет
поток — божественная лава...

И Сила гулкая, встающая со дна,
вздувает огненные зыби:
растет горячая вишневая волна
с роскошной просинью на сгибе.

Вот поднялась горбом и пеной зацвела,
и нежно лопается пена,
и вырываются два плещущих крыла
из пламенеющего плена.

И ангел восстает стремительно-светло,
в потоке огненном зачатый,
— и в жилках золотых прозрачное крыло
мерцает бахромой зубчатой.

И беззаветную хвалу он пропоет,
на миг сияя над потоком,
— сквозными крыльями восторженно всплеснет,
исчезнет в пламени глубоком.

И вот возник другой из пышного огня,
с таким же возгласом блаженства:

вся жизнь его звенит и вся горит, звеня,
и вся — мгновенье совершенства.

И если смутно мне, и если даль мутна,
я призываю эти зыби:
растет горячая вишневая волна
с роскошной просинью на сгибе...

26. 1. 23.

Ты все глядишь из тучи темносизой,
и лилия — в светящейся руке;
а я сквозь сон молю о лепестке
и все ищу в изгибах смутной ризы
изгиб живой колена иль плеча.

Мне твоего не выразить подобья
ни в музыке, ни в камне... Исполбья
глядят в мой сон два горестных луча.

27. 1. 23.

И утро будет: песни, песни,
каких не слышно и в раю,
и огненный промчится вестник,
взвив тонкую трубу свою.

Распахивая двери наши,
он пронесется, протрубит,
дыханьем расплавля чаши
неупиваемых обид.

Весь мир, извилистый и гулкий,
неслыханные острова,
немыслимые закоулки,
как пламя, облетит молва.

Тогда-то, с плавностью блаженной,
как ясновидящие, все
поднимемся, и в путь священный
по первой утренней росе.

30. 1. 23.

Глаза прикрою — и мгновенно,
весь легкий, звонкий весь, стою
опять в гостиной незабвенной,
в усадьбе, у себя, в раю.

И вот из зеркала косого
под лепетанье хрусталей
глядят фарфоровые совы —
пенаты юности моей.

И вот, над полками, гортензий
легчайшая голубизна,
и солнца луч, как Божий вензель,
на венском стуле, у окна.

По потолку гудит досада
двух заплутавшихся шмелей,
и веет свежестью из сада,
из глубины густых аллей,

неизъяснимой веет смесью
еловой, липовой, грибной:
там, по сырому пестролесью,
— свист, щебетанье, гам цветной!

А дальше — сон речных извилин
и сенокоса тонкий мед.
Стой, стой, виденье! Но бессилен
мой детский возглас. Жизнь идет,

с размаху небеса ломая,
идет... ах, если бы навек
остаться так, не разжимая
росистых и блаженных век!

3. 2. 23.

При луне, когда косую крышу
лижет металлический пожар,
из окна случайного я слышу
сладкий и пронзительный удар
музыки; и чувствую, как холод
счастья мне душу обдает;
кем-то ослепительно расколот
лунный мрак; и медленно в полет
собираюсь, вынимая руки
из карманов, трепещу, лечу,
но в окне мгновенно гаснут звуки,
и меня спокойно по плечу
хлопает прохожий: „вы забыли”,
— говорит, — „летать запрещено.”
И застыв, в венце из лунной пыли,
я гляжу на смолкшее окно.

Берлин, 6. 3. 24.

Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то
в локоть толкнул, проходя. Сердце, на камни упав,
скорбно разбилось на песни. Прими же осколки. Не знаю,
кто проходил, подтолкнул: сердце я бережно нес.

7. 3. 23.

ПАМЯТИ ГУМИЛЕВА

Гордо и ясно ты умер, умер, как Муза учила.
Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем
медном Петре и о диких ветрах африканских — Пушкин.

19. 3. 23.

РОДИНЕ

Посвящается моей сестре Елене

Воркующею теплотой шестая
— чужая — наливается весна.
Все ждет тебя душа моя простая,
гадаю у восточного окна.

Позволь мне помнить холодок щемящий
зеленоватых ландышей, когда
твой светлый лес плывет, как сон шумящий,
а воздух — как дрожащая вода.

Позволь мне жить, искать Творца в творенье,
звать изумленье рифмы и любви.
Не укоряй в час трудного горенья,
что вот я вспомнил ландыши твои.

Как тень твоя, чужой апрель мне сладок.
Взволнованно душа тебя зовет,
текущий блеск твоих дождей и радуг,
когда весь лес лепечет и плывет.

Твой будет взлет неизъяснимо ярком,
а наша встреча — творчески-тиха:
склонюсь, шепну: вот мой простой подарок,
вот капля солнца в венчике стиха.

31. 3. 23.

РЕКА

Каждый помнит какую-то русскую реку,
но бессильно запнется, едва
говорить о ней станет: даны человеку
лишь одни человечесьи слова.
А ведь реки, как души, все разные... нужно,
чтоб соседу поведать о них,
знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный,
изумрудную речь водяных.
Но у каждого в сердце, где клад заковала
кочевая стальная тоска,
отзывается внятно, что сердцу, бывало,
напевала родная река.

Для странников верных
качнул я дыханьем души
эти качели слогов равномерных
в бессонной тиши.

Повсюду
— в мороз и на зное —
встретишь
странников этих
несущих, как чудо,
как бремя страстное,
родину.

Сам я, бездомный,
как-то ночью стоял на мосту
в городе мгlistом,
огромном,
и глядел в маслянистую
темноту

рядом с тенью случайно любимой,
стройной, как черное пламя,
да только с глазами
безнадежно чужими.

Я молчал, и спросила она на своем языке:
„ты меня уж забыл?“ —
и не в силах я был
объяснить,

что я там, далеко, на реке
илистой, тинистой, с именем милым,
с именем, что камышовая тишь...
Это словно из ямочки в глине
черно-синий
выстрелит стриж.

И вдоль по сердцу
носится
с криком своим изумленным: вий-вии!
Это было в России,
это было в раю...

Вот,
гладкая лодка плывет
в тихоструйную юность мою,
мимо леса,
полного иволог, солнца, прохлады грибной,
мимо леса,
где березовый ствол чуть сквозит белизной
стройной
в буйном бархате хвойном,
мимо красных крутых берегов
парчевых островков,
мимо плавных полянок сырых, в скабиозах
и лютиках.

Раз! — и тугие уключины
звякают, — раз! — и весло на весу
проливает огнистые слезы
в зеленую тень.

Чу! — в прибрежном лесу
кто-то легко зааукал...
Дремлет цветущая влага, подковы
листьев ползучих, фарфоровый купол
цветка
водяного.
Как мне запомнилась эта река,
узорная, узкая.
Вечереет...
(и как объяснить,
что значило русское
„вечереет”?)
стрекоза, бирюзовая нить,
два крыла слюдяных — замерла
на перилах купальни...
Солнце в черемухах. Колокол дальний.
Тучки румяные, русые.
Червячка из чехла
выжмешь, за усики
вытащишь, и на крючок.
Ждешь. Ключет.
Сладко дрогнет леса, и блеснет,
шлепнет о мокрые доски
голубая плотва, головастый бычок
или хариус жесткий.
А когда мне удить надоест,
на деревянный навес
взберусь
(...Русь!...)
и оттуда беззвучно ныряю
в отраженный закат...
Ослепленный, плыву наугад,
ширяю,
навзничь ложусь — и не ведаю, где я —
в небесах, на воде ли.
Мошкара надо мною качается

вверх и вниз, вверх и вниз — без конца...
Вечер кончается.
Осторожно сдираю с лица
липкую травку.
В щиколку щиплет малявка:
сладок мне рыбий
слепой поцелуй.
В лиловеющей зыби
узел огненных струй —
и плыву я
горю,
глотаю зарю
вечеровую...
А теперь в бесприютном краю,
уж давно не снимая котомки,
качаю — ловлю я, качаю — ловлю
строки о русской речонке,
строки, как отблески солнца, бессвязные...
А ведь реки, как души, все разные,
нужно,
чтоб соседу поведать о них,
знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный,
изумрудную речь водяных.
Но у каждого в сердце, где клад заковала
кочевая стальная тоска,
отзывается внятно, что сердцу, бывало,
напевала родная река...

Берлин, 8. 4. 23.

Когда я по лестнице алмазной
поднимусь из жизни на райский порог,
за плечом, к дубинке легко привязан,
будет заплатанный узелок.

Узнаю: ключи, кожаный пояс,
медную плешь Петра у ворот.
Он заметит: я что-то принес с собою —
и остановит, не отопрет.

„Апостол, скажу я, пропусти мя!..”
Перед ним развяжу я узел свой:
два-три заката, женское имя
и темная горсточка земли родной...

Он поводит строго бровью седою,
но на ладони каждый изгиб
пахнет еще гефсиманской росой
и чешуей иорданских рыб.

И потому-то без трепета, без грусти
приду я, зная, что, звякнув ключом,
он улыбнется и меня пропустит,
в рай пропустит с моим узелком.

21. 4. 23.

В часы трудов счастливых и угрюмых
моя благая слушает тоска,
как долгой ночью в исполинских думах
ворочаются в небе облака.

Ударит и скользнет Господь по лире,
здесь отзвук — свет еще одной зари...
Здесь все творит в сладчайшем этом мире
и от меня все требует: твори.

Гул дантовский в тебе я слышу, тополь,
когда ты серебришься пред грозой,
и муравьиный вижу я Акрополь,
когда гляжу на хвойный холм живой.

Поет вода, молясь легко и звонко,
и мотыльковых маленьких мадонн
закат в росинки вписывает тонко
под светлый рассыпающийся звон.

Так как же мне, в часы нагие ночи
томясь в себе, о, как же не творить,
когда весь мир, весь мир упрямый хочет
со мной дышать, гореть и говорить?

28. 4. 23.

О, как ты рвешься в путь крылатый,
безумная душа моя,
из самой солнечной палаты
в больнице светлой бытия!

И бредя о крутом полете,
как топчешься, как бьешься ты
в горячечной рубашке плоти,
в тоске телесной тесноты!

Иль, тихая, в безумье тонком
гудишь-звенишь сама с собой,
вообразив себя ребенком,
сосною, соловьем, совой.

Поверь же соловьям и совам,
терпи, самообман любя, —
смерть громыхнет тугим засовом
и в вечность выпустит тебя.

2. 5. 23.

Я странствую... Но как забыть? Свистящий
рвал ветер твой платок, дышал прибой,
дышала ты... на гальке шелестящей
прощался я с отчизной и тобой.

Мотало ялик. Полоса тумана
луну пересекала пополам,
вздыхалось море отгулом органа,
стекало по заплаканным скалам.

И ты на небывалое изгнание
благословляла жалобно меня,
и снилось мне, что ночь твое дыханье,
что ты умрешь при мановенье дня.

И клялся я, что вечно и повсюду,
на всех распутьях мировой глуши,
о, как беречь, как праздновать я буду
гнев и любовь — бессонницу души.

И море встало. Холодом и дымом
отхлынул берег, весь тобой звеня.
Я странствую... На берегу родимом
ты, верная, еще не ждешь меня.

Берлин, май 1923 г.

Нет, бытие — не зыбкая загадка!
Подлунный дол и ясен, и росист.
Мы — гусеницы ангелов; и сладко
въедаться с краю в нежный лист.

Рядись в шипы, ползи, сгибайся, крепни,
и чем жадней твой ход зеленый был,
тем бархатистей и великолепней
хвосты освобожденных крыл.

б. 5. 23.

ВСТРЕЧА

„И странной близостью закованный...”

А. Блок

Тоска, и тайна, и услада...
Как бы из зыбкой черноты
медлительного маскарада
на смутный мост явилась ты.

И ночь текла, и плыли молча
в ее атласные струи
той черной маски профиль волчий
и губы нежные твои.

И под кашатаны, вдоль канала,
прошла ты, искоса маня;
и что душа в тебе узнала,
чем волновала ты меня?

Иль в нежности твоей минутной,
в минутном повороте плеч
переживал я очерк смутный
других — неповторимых — встреч?

И романтическая жалость
тебя, быть может, привела
понять, какая задрожала
стихи пронзившая стрела?

Я ничего не знаю. Странно
трепещет стих, и в нем — стрела...

Быть может необманной, жданной
ты, безымянная, была?

Но недоплаканная горесть
наш замутила звездный час.
Вернулась в ночь двойная прорезь
твоих — непросиявших — глаз...

Надолго ли? Навек? Далече
брожу и вслушиваюсь я
в движенье звезд над нашей встречей...
И если ты — судьба моя...

Тоска, и тайна, и услада,
и словно дальняя мольба...
Еще душе скитаться надо.
Но если ты — моя судьба...

1923 г.

ПЕСНЯ

Верь: вернутся на родину все,
вера ясная, крепкая: с севера
лыжи неслышные, с юга
ночная фелюга.

Песня спасет нас.

Проулками в гору
шел я, в тяжелую шел темноту,
чуждый всему, и крутому узору
черных платанов, и дальнему спору
волн, и кабацким шарманкам в порту.

Ветер прошел по листьям искривленным,
ветер, мой пьяный и горестный брат,
и вдруг затих под окном озаренным:
ночь, ночь — и янтарный квадрат.

Кто-то была та, чей голос горящий
русскою песней гремел за окном?
В сумраке видел я отблеск горящий,
слушал ее под поющим окном.

Как распевала она! Проплывало
сердце ее в лучезарных струях,
как тосковала,
как распевала,
молясь былому в чужих краях,
о полнолуние небывалом,
о небывалых соловьях.

И в темноте пылали звуки,
— рыдающая даль любви,
даль — и цыганские разлуки,
ночь, ночь — и в роще соловьи.

Но пронёсился ветер с моря
дыханьем соли и вина,
и гармонического горя
спала жаркая волна.
Касался грубо ветер с моря
глициний вдоль ее окна,
и вновь, как бы в блаженстве горя,
пылала звуками она...
О чем? О лепестке завялом,
о горестной своей красе,
о полнолунье небывалом,
о небывалом —

ветер! Вернутся на родину все,
вера ясная, крепкая: с севера
лыжи неслышные, с юга ночная фелюга...
Все.

1923 г.

ПРОВАНС

1.

Как жадно затая дыханье,
склоня колена и плеча,
напьюсь я хладного сверканья
из придорожного ключа.

И, запыленный и счастливый,
лениво развяжу в тени
евангелической оливы
сандалий узкие ремни.

Под той оливой, при дороге,
бродячей радуясь судьбе,
без удивленья, без тревоги,
быть может, вспомню о тебе.

И пенем дум моих влекома,
в лазури лиловой дня,
в знакомом платье незнакома,
пройдешь ты, не узнав меня.

2.

Слоняюсь переулками без цели,
прислушиваюсь к древним временам:
при Цезаре цикады те же пели,
и то же солнце стлалось по стенам.

Поет платан, и ствол в пятнистом блеске;
поет лавчонка; можно отстранить
легко звенящий бисер занавески:
поет портной, вытягивая нить.

И женщина у круглого фонтана
поет, полощет синее белье,
и пятнами ложится тень платана
на камни, на корзину, на нее.

Как хорошо в звенящем мире этом
скользить плечом вдоль меловых оград,
быть русским заблудившимся поэтом
среди лепета латинского цикад!

Сольес-Пон, 1923 г.

Зовешь, — а в деревце гранатовом соенок
полаивает, как щенок.
В вечерней вышине так одинок и звонок
луны изогнутый клинок.

Зовешь, — и плещет ключ вечернею лазурью.
Как голос твой, вода свежа,
и в глиняный кувшин, лоснящийся глазурью,
луна вонзается дрожа.

26. 7. 23.

Как бледная заря, мой стих негромок,
и кратко звуковое бытие,
и вряд ли мой разборчивый потомок
припомнит птичье прозвище мое.

Что ж делать, муза, жизнь моя. Мы будем
в подстрочном примечанье скромно жить...
Не прозвенеть, не высказать мне людям,
что надо Божьей тенью дорожить.

Что Божья тень волнистая сквозь наши
завесы разноцветные видна;
что день и ночь — две дорогие чаши
живой воды и звездного вина.

Не прозвенеть, не высказать — и скоро
мою забудут бледную зарю,
и первая забудет та, которой
последние лучи я подарю.

И все же, муза, счастлив я... Ты нежность,
ты — тишина; с тобой нельзя грустить;
ты в пенье дней житейскую мятежность,
как лишний слог, не можешь допустить.

31. 8. 23.

Ночь свищет, и в пожары млечные,
в невероятные края,
проваливаясь в бездны вечные,
идет по звездам мысль моя,
как по волнам во тьме неистовой,
где манит Господа рука
растрепанного, серебристого,
скользящего ученика...

2. 9. 23.

Я помню в плюшевой оправе
дагерротипную мечту
и очи в северной дубраве,
и губы в громовом порту.

Но ты... Прямой и тонкой тенью,
как бы ступая по стеклу,
внимая призрачному пенью,
вникая пристально во мглу,

— во мглу, где под железным кленом
я ждал, где, завернув с угла,
сквозные янтари со стоном
текли в сырые зеркала —

безгласно в эту мглу вошла ты,
и все, что скучно стыло встарь,
все сказкой стало: клен зубчатый,
геометрический фонарь...

Ты... Платье черное мне снится,
во взгляде сдержанный огонь,
мне тихо на рукав ложится
продолговатая ладонь.

И вдруг, улыбкою нежданной
блеснув, указываешь мне:
клин теневой, провал обманный
на бледной, на косой стене.

Да, правда: город угловатый
играет жизнью колдовской
с тех пор, как в улицу вошла ты
своей стеклянною стопой.

И в этом мире небывалом
теней и света мы одни.
Вчера нам снились за каналом
венецианские огни.

И Гофман из зеркальной двери
вдруг вышел и в плаще прошел,
а под скамьею в темном сквере
я веер костяной нашел.

И непонятный выступ медный
горит сквозь дальнее стекло,
а на стене, косою и бледной —
откуда? — черное крыло.

Гадая, все ты отмечаешь,
все игры вырезов ночных,
заговорю ли — отвечаешь,
как бы доканчивая стих.

Таинственно скользя по гласным,
ты шепчешь, замираешь ты,
и на лице твоём неясном
ловлю я тень моей мечты.

А там над улицею сонной,
черты земные затая,
стеною странно освещенной
стоит за мною жизнь моя

Берлин, 25. 9. 23.

Санкт-Петербург — узорный иней,
ex libris беса, может быть,
но дивный... Ты уплыл, и ныне
мне не понять и не забыть.

Мой Пушкин бледной ночью, летом,
сей отблеск объяснял своей
Олениной, а в пенье этом
сквозная тень грядущих дней.

И ныне: лепет любопытных,
прах, нагота, крысиный шурк
в книгохранилищах гранитных;
и ты уплыл, Санкт-Петербург.

И долетая сквозь туманы
с воздушных площадей твоих,
меня печалит музы пьяной
скуластый и осипший стих.

Берлин, 25. 9. 23.

ГРОЗА

Стоишь ли, смотришь ли с балкона,
деревья ветер гнет, и сам
шалеет от игры, от звона
с размаху хлопающих рам.

Клубятся дымы дождевые
по заблеставшей мостовой
и над промокшею впервые
зелено-яблочной листвой.

От плеска слепну: ливень, снег ли,
не знаю. Громовой удар,
как будто в огненные кегли
чугунный прокатился шар.

Уходят боги, громыхая,
стихает горняя игра,
и вот вся улица пустая —
лист озаренный серебра.

И с неба липою пахнуло
из первой ямки голубой,
и влажно в памяти скользнуло,
как мы бежали раз с тобой:

твой лепет, завитки сырые,
лучи смеющихся ресниц.

Наш зонтик, капли золотые
на кончиках раскрытых спиц...

1923 г.

АВТОБУС

Расшатывая сумрак бурый
огнями, жестяным горбом,
на шинах из слоновой шкуры
гремящий прокатился дом.

И вслед качнувшейся громаде,
как бы подхвачен темнотой,
я кинулся и вспрыгнул сзади,
и взмыл по лестнице витой.

И там, придерживая шляпу,
в свистящей сырости ночной
я видел: выбросила лапу
и скрылась ветка надо мной.

И вспомнил: допотопный ужас,
бег, топот, выгибы клыков...
Пускай в гранатовые лужи
стекают стекла кабаков,

— пожарище тысячелетий,
душа дремучая моя,
отдай же мне огонь и ветер,
грома иного бытия!

Когда я легкий, низколобый
на ветке повисал один

над обезумевшею злобой
бегущих мамонтовых спин.

5. 10. 23.

БАРС

Пожаром яростного крапа
маячу в травяной глуши,
где дышит след и росный запах
твоей промчавшейся души.

И в нестерпимые пределы,
то близко, то вдали звеня,
летит твой смех обезумелый
и мучит, и пьянит меня.

Луна пылает молодая,
мед каплет на мой жаркий мех;
бьет, скатывается, рыдая,
твой задыхающийся смех.

И в липком сумраке зеленом
пожаром гибким и слепым
кружусь я, опьяненный звоном,
полетом, запахом твоим...

Но не уйдешь ты! В полнолунье
в тиши настигну у ручья,
сомну тебя, мое безумье
серебряное, лань моя.

1923 г.

Милая, нежная — этих старинных,
песенных слов не боюсь, и пою...
О, наклоняйся из сумерек длинных
в светлую бездну мою!

Я подарю тебе солнечной масти
рьяных коней, колесницу в цветах,
ибо сейчас я не пристальный мастер,
я — изумление и взмах.

Милая, нежная, я не ошибся,
часто мне женские снились черты.
Все они были из ломкого гипса,
золото легкое — ты.

Это, пойми, не стихи, а дыхание,
мреющий венчик над страстью моей,
переходящий в одно колыханье
неизмеримых зыбей.

17. 10. 23.

Из мира уползли — и ноют на луне
шарманщики воспоминаний...
Кто входит? Муза, ты? Нет, не садись ко мне:
я только пасмурный изгнанник.

Полжизни — тут, в столе; шуршит она в руках;
тетради трогаю, хрустящий
клин веера, стихи — души певучий прах, —
и грудью задвигаю ящик...

И вот уходит все, и я — в тених ночных,
и прошлое горит неяро,
как в черепе сквозном, в провалах костяных
зажженный восковой огарок...

И ланнеровский вальс не может заглушить...
Откуда?... Уходи... Не надо...
Как были хороши... Мне лепестков не сшить,
а тлен цветочный сладок, сладок...

Не говори со мной в такие вечера,
в часы томленья и тумана,
когда мне чудится невнятная игра
ушедших на луну шарманок...

Ноябрь 1923 г.

Я Индией невидимой владею:
приди под синеву мою.
Я прикажу нагому чародею
в запястье обратить змею.

Тебе, неопикуемой царевне,
отдам за поцелуй Цейлон,
а за любовь — весь мой роскошный, древний,
тяжелозвездный небосклон.

Павлин и барс мой, бархатно-горящий,
тоскуют; и кругом дворца
шумят, как ливни, пальмовые чаши,
все ждем мы твоего лица.

Дам серьги — два стекающих рассвета,
дам сердце — из моей груди.
Я царь, и если ты не веришь в это,
не верь, но все равно, приди!

7. 12. 23.

ВИДЕНИЕ

В снегах полуночной пустыни
мне снилась мать всех берез,
и кто-то — движущийся иней —
к ней тихо шел и что-то нес.

Нес на плече, в тоске высокой,
мою Россию, детский гроб;
и под березой одинокой
в бледно-пылящийся сугроб

склонился в трепетанье белом,
склонился, как под ветром дым.
Был предан гробик с легким телом
снегам невинным и немым.

И вся пустыня снеговая,
молясь, глядела в вышину,
где плыли тучи, задевая
крылами тонкими луну.

В просвете лунного мороза
то колебалась, то в дугу
сгибалась голая береза,
и были тени на снегу

там, на могиле этой снежной,
сжимались, разгибались вдруг,
заламывались безнадежно,
как будто тени Божьих рук.

И поднялся, и по равнине
в ночь удалился навсегда
лик Божества, виденье, иней,
не оставляющий следа...

1924 г.

ОБ АНГЕЛАХ

1

Неземной рассвет блеском облил...
Миры прикатали: распрягай!
Подняты огненные оглобли.
Ангелы. Балаган. Рай.

Вспомни: гиганты промахивают попарно,
торгуют безднами. Алый пар
от крыльев валит. И лучезарно
кипит божественный базар.

И в этом странствуя сиянье,
там я купил — за песнь одну —
женскую душу и в придачу нанял
самую дорогую весну.

Представь: мы его встречаем
вон там, где в лисичках пень,
и был он необычаен,
как радуга в зимний день.

Он хвойную занозу
из пятки босой ташил.
Сквозили снега и розы
праздно склоненных крыл.

Наш лес, где была черника
и телесного цвета грибы,
вдруг пронзен был дивным криком
золотой, неземной трубы.

И он нас увидел; замер,
оглянул людей, лес,
испуганными глазами
и, вспыхнув крылом, исчез.

Мы вернулись домой с сырыми
грибами в узелке
и с рассказом о серафиме,
встреченном в сосняке.

1924 г.

СМЕРТЬ

Утихнет жизни рокот жадный,
и станет музыкою тишь,
гость босоногий, гость прохладный,
ты и за мною прилетишь.

И душу из земного мрака
поднимешь, как письмо, на свет,
ища в ней водяного знака
сквозь тени суетные лет.

И просияет то, что сонно
в себе я чую и таю,
знак нестираемый, исконный,
узор, придуманный в раю.

О, смерть моя! С землей уснувшей
разлука плавная светла:
полет страницы, соскользнувшей
при дуновенье со стола.

1924 г.

СКИТАЛЬЦЫ

За громадные годы изгнания,
вся колючим жаром дыша,
исходила ты мироздания,
о, косматая наша душа.

Семимильных сапог не обула,
и не мчал тебя чародей,
но от пыльных зловоний Стамбула
до парижских литых площадей,

от полярной губы до Бискры,
где с арабом прильнула к ручью,
ты прошла и сыпала искры,
если трогали шерсть твою.

Мы, быть может, преступнее, краше,
голодней всех племен мирских.
От языческой нежности нашей
умирают девушки их.

Слишком вольно душе на свете.
Встанет ветер всяя Руси,
и душа скитальцев ответит,
и ей ветер скажет: неси.

И по ребрам дубовых лестниц
Мы прикатим с собой на пир

бочки солнца, тугие песни
и в рогожу завернутый мир.

1924 г.

НА РАССВЕТЕ

Я показывал твой смятый снимок
трем блудницам. Плыл кабак ночной.
Рассвело. Убогий город вымок
в бледном воздухе. Я шел домой.

Освещенное окно, где черный
человечек брился, помню; стон
первого трамвая; и просторный,
тронутый рассветом небосклон.

Боль моя лучи свои простерла,
в небеса невысохшие шла.
Голое переполнялось горло
судорогой битого стекла.

И окно погасло: кончил бриться.
День рабочий, бледный, впереди.
А в крови все голос твой струится:
„навсегда”, сказала, „уйди”.

И подумала; и где-то капал
кран; и повторила: „навсегда”.
В обмороке, очень тихо, на пол
тихо соскользнула, как вода.

Берлин, 8. 2. 24.

ГОСТЬ

Хоть притупилась шпага, и сутулей
вхожу в сады, и запылен
мой черный плащ, — душа все тот же улей
случайно-сладостных имен.

И ни одна не ведает, внимая
моей заученной мольбе,
что рядом склеп, где статуя немая,
воспоминанье о тебе.

О, смена встреч, обманы вдохновенья.
В обманах смысл и сладость есть:
не жажда невозможного забвенья,
а увлекательная месть.

И вот душа вздыхает, как живая,
при убедительной луне,
в живой душе искусно вызывая
все то, что умерло во мне.

Но только с ней поникну в сумрак сладкий,
и дивно задрожит она,
тройным ударом мраморной перчатки
вдруг будет дверь потрясена.

И вспомнится испанское сказанье,
и тяжело из загробных стран
смертельное любви воспоминанье
войдет, как белый великан.

Оно сожмет, торжественно, без слова
мне сердце дланью ледяной,
и пламенные пропасти бывшего
вдруг распахнутся предо мной.

Но не поняв, что сердцу нежеланна,
что сердце темное мертво,
доверчиво лепечет Донна Анна,
не видя гостя моего.

1924 г.

КУБЫ

Сложим крылья наших видений.
Ночь. Друг на друга дома углами
валятся. Перешиблены тени.
Фонарь - сломанное пламя.

В комнате деревянный ветер косит
мебель. Зеркалу удержать трудно
стол, апельсины на подносе.
И лицо мое изумрудно.

Ты — в черном платье, полет, поэма
черных углов в этом мире пестром.
Упираешься, траурная теорема,
в потолок коленом острым.

В этом мире страшном, не нашем, Боже,
буквы жизни и целые строки
наборщики переставили. Сложим
крылья, мой ангел высокий.

1924 г.

СТАНСЫ

Ничем не смоешь подписи косою
судьбы на человеческой ладони,
ни грубыми трудами, ни росой
всех аравийских благовоний.

Ничем не смоешь взгляда моего,
тобой допущенного на мгновенье.
Не знаешь ты, как страшно волшебство
бесплотного прикосновенья.

И в этот миг, пока дышал мой взгляд,
издалека тобою обладавший,
моя мечта была сильнее стократ
твоей судьбы, тебя создавшей.

Но кто из нас мечтать не приходил
к семейственной и глупой Мона Лизе,
чей глаз, как всякий глаз, составлен был
из света, жилочек и слизи?

О, я рифмую радугу и прах.
Прости, прости, что рай я уничтожил,
в двух бархатных и пристальных мирах
единый миг, как бог, я прожил.

Да будет так. Не в силах я тебе
открыть, с какою жадностью певучей,

с каким немым доверием судьбе
невыразимой, неминуемой— —

1924 г.

LA BONNE LORRAINE

Жгли англичане, жгли мою подругу,
на площади в Руане жгли ее.
Палач мне продал черную кольчугу,
клювастый шлем и мертвое копьё.

Ты здесь со мной, железная святая,
и мир с тех пор стал холоден и прост:
косая тень и лестница витая,
и в бархат ночи вбиты гвозди звезд.

Моя свеча над ржавою резьбою
дрожит и каплет воском на ремни.
Мы, воины, летали за тобою,
в твои цвета окрашивая дни.

Но опускала ночь свое забрало,
и молча выскользнув из лат мужских,
ты, белая и слабая, сгорала
в объятьях верных рыцарей твоих.

Берлин, 1924 г.

МОЛИТВА

Пыланье свеч то выявит морщины,
то по белку блестящему скользнет.
В звездах шумят древесные вершины,
и замирает крестный ход.
Со мною ждет ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибая,
пасхальный вопль опять растет.

Пылай, свеча, и трепетные пальцы
жемчужинами воска ороси.
О милых мертвых думают скитальцы,
о дальней молятся Руси.
А я молюсь о нашем дивьем диве,
о русской речи, плавной, как по ниве
движенье ветра... Воскреси!

О, воскреси душистую, родную,
косноязычный сон ее гнетет.
Искажена, искромсана, но чую
ее невидимый полет.
И ждет со мной ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибая,
пасхальный вопль опять растет.

Тебе, живой, тебе, моей прекрасной,
вся жизнь моя, огонь несметных свеч.
Ты станешь вновь, как воды, полногласной,
и чистой, как на солнце меч,
и величавой, как волнение нивы.

Так молится ремесленник ревнивый
и рыцарь твой, родная речь.

1924 г.

СТИХИ

Блуждая по запущенному саду,
я видел, в полдень, в воздухе слепом,
двух бабочек глазастых, до упаду
хохочущих над бархатным пупом
подсолнуха. А в городе однажды
я видел дом: был у него такой
вид, словно он смех сдерживает; дважды
прошел я мимо, и потом рукой
махнул и рассмеялся сам; а дом, нет,
не прыснул: только в окнах огонек
лукавый промелькнул. Все это помнит
моя душа; все это ей намек,
что на небе по-детски Бог хохочет,
смотря, как босоногий серафим
вниз перегнулся и наш мир щекочет
одним лазурным перышком своим.

1924 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ко мне, туманная Леила!
Весна пустынная, назад!
Бледно-зеленые ветрила
дворцовый распускает сад.

Орлы мерцают вдоль опушки.
Нева, лениво шелестя,
как Лета льется. След локтя
оставил на граните Пушкин.

Леила, полно, перестань,
не плачь, весна моя былая.
На вывеске плавучей — глянь —
какая рыба голубая.

В петровом бледном небе — штиль,
флотилия туманов вольных,
и на торцах восьмиугольных
все та же золотая пыль.

Берлин, 26. 5. 24.

ВЕЧЕР

Я в угол сарая кирку и лопату
свалил с плеча и пот отер,
и медленно вышел навстречу закату
в прохладный розовый костер.

Он мирно пылал за высокими буками,
между траурных ветвей,
где вспыхнул на миг драгоценными звуками
напряженный соловей.

И сдавленный гам, жабий хор гуттаперчевый
на пруду упруго пел.
Осекся. Пушком мимолетным доверчиво
мотылек мне лоб задел.

Темнели холмы: там блеснул утешительный
трепет огоньков ночных.
Далече пропыхивал поезд. И длительно
свистнул... длительно утих...

И пахло травой. И стоял я без мысли.
Когда же смолк туманный гуд,
заметил, что смерклось, что звезды нависли,
что слезы по лицу текут.

10. 7. 24.

Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем?
Скажи мне, отчего твои уста, летун,
как мертвые, бледны, а крылья пахнут морем?

И демон мне в ответ: „Ты голоден и юн,
но не насытишься ты звуками. Не трогай
натянутых тобой нестройных этих струн.

Нет выше музыки, чем тишина. Для строгой
ты создан тишины. Узнай ее печать
на камне, на любви и в звездах над дорогой.”

Исчез он. Тает ночь. Мне Бог велел звучать.

Берлин, 27. 9. 24.

СТРАНА СТИХОВ

Дай руки, в путь! Найдем среди планет
 пленительных такую, где не нужен
 житейский труд. От хлеба до жемчужин
 все купит звон особенных монет.

И доступа злым и бескрылым нет
 в блаженный край, что музой обнаружен,
 где нам дадут за рифму целый ужин
 и целый дом за правильный сонет.

Там будем мы свободны и богаты...
 Какие дни. Как благодны закаты.
 Кипят ключи кастальские во мгле.

И глядя в ночь на лунные оливы
 в стране стихов, где боги справедливы,
 как тосковать мы будем о земле!

1924 г.

ИСХОД

Муза, с возгласом, со вздохом шумным
у меня забилась на руках.
В звездном небе тихом и безумном
снежный поднимающийся прах

очертанья принимал, как если
долго вглядываться в облака:
образы гранитные воскресли,
смуглый купол плыл издалека.

Через млечный путь бледно-туманный
перекинулись из темноты
в темноту — о, муза, как неожиданно! —
явственные невские мосты.

И задев в седом и синем мраке
исполинским куполом луну,
скрипнувшую, как сугроб, Исакий
медленно пронесся в вышину.

Словно ангел на носу фрегата,
бронзовым протянутым перстом
рассекая звезды, плыл куда-то
Всадник, в изумленье неземном.

И по тверди поднимался тучей,
тускло озаренной изнутри,
дом; и вереницею текучей
статуи, колонны, фонари

таяли в просторах ночи синей,
и неспешно догоняя их,
к Господу несли свой чистый иней
призраки деревьев неживых.

Так проплыл мой город непорочный,
дивно оторвавшись от земли.
И опять в гармонии полночной
только звезды тихие текли.

И тогда моя полуживая
маленькая муза, трепеща,
высунулась робко из-за края
нашего широкого плаща.

Берлин, 11. 9. 24.

КОСТЕР

На сумрачной чужбине, в чаше,
где ужас очертанья стер,
среди прогалины — горящий,
как сердце жаркое, костер.

Вокруг синеющие тени,
и сквозь летающую сеть
теней и рдяных отражений
склоненных лиц не разглядеть.

Но, отгоняя сумрак жадный,
вот песня вспыхнула в тиши,
гори, гори, костер отрадный,
шинели наши осуши.

И снова всколыхнулись плечи,
и снова полнозвучный взмах,
кипят воинственные речи
и слезы светятся в глазах.

Зверье, блуждающее в чащах,
лесные духи и ветра
бегут от этих глаз горящих
и от поющего костра.

Зато с каким благоговеньем,
с какою верой в трудный путь,

утешен пламенем и пеньем,
подходит странник отдохнуть.

Берлин, ноябрь 1924 г.

УТРО

Шум зари мне чудился, кипучий
муравейник отблесков за тучей.
На ограду мрака и огня,
на ограду реющего **рая**
облокачивался Зодчий Дня,
думал и глядел, не раскрывая
своего туманного плаща,
как толпа работников крылатых,
крыльями блестящими треща,
солнце поднимает на канатах.

Выше, выше... выше! Впопыхах
просыпаюсь. Купол занавески,
полный ветра, в синеватом блеске
дышит и спадает. Во дворах
по коврам уже стучат служанки,
и пальбою плоской окружен,
медяки вымаливает стон
старой, удивительной шарманки...

Берлин, 5. 12. 24.

В ПЕЩЕРЕ

Над Вифлеемом ночь застыла.
Я блудную овцу искал.
В пещеру заглянул — и было
виденье между черных скал.

Иосиф, плотник бородатый,
сжимал, как смуглые тиски,
ладони, знавшие когда-то
плоть необструганной доски.

Мария слабая на чадо
улыбку устремляла вниз,
вся умиление, вся прохлада
линялых синеватых риз.

А он, младенец светлоокий
в венце из золотистых стрел ,
не видя матери, в потоки
своих небес уже смотрел.

И рядом, в темноте счастливой,
по белизне и бубенцу
я вдруг узнал, пастух ревнивый,
свою пропавшую овцу.

Берлин, 11. 12. 24.

К РОДИНЕ

Ночь дана, чтоб думать и курить,
и сквозь дым с тобою говорить.

Хорошо... Пошуркивает мышь,
много звезд в окне и много крыш.

Кость в груди нащупываю я:
родина, вот эта кость — твоя.

Воздух твой, вошедший в грудь мою,
я тебе стихами отдаю.

Синей ночью рдяная ладонь
охраняла вербный твой огонь.

И тоскуют впадины ступней
по земле пронзительной твоей.

Так все тело — только образ твой,
и душа — как небо над Невой.

Покурю и лягу, и засну,
и твою почувствую весну:

угол дома, памятный дубок,
граблями расчесанный песок.

1924 г.

ВЕЛИКАН

Я вылепил из снега великана,
дал жизнь ему и в ночь на Рождество
к тебе, в поля, через моря тумана,
я, грозный мастер, выпустил его.

Над ним кружились вороны, как мухи
над головою белого быка.
Его не вьюги создали, не духи,
а только огрубелая тоска.

Слепой, как мрамор, близился он к цели,
Шагал, неотразимый, как зима.
Охотники, плутавшие в метели,
его видали и сошли с ума.

Но вот достиг он твоего предела
и замер вдруг: цвела твоя страна,
ты счастлива была, дышала, рдела,
в твоей стране всем правила весна.

Легка, проста, с душою шелковистой,
ты в солнечной скользила тишине,
и новому попутчику так чисто,
так гордо говорила обо мне.

И перед этим солнцем отступая,
поняв, что с ним соперничать нельзя,

растаяла тоска моя слепая,
вся синевой весеннею сквозя.

Берлин, 13. 12. 24.

ШЕКСПИР

Среди вельмож времен Елизаветы
и ты блистал, чтил пышные заветы,
и круг брыжей, атласным серебром
обтянутая ляжка, клин бородки —
все было, как у всех... Так в плащ короткий
божественный запахивался гром.

Надменно-чужд тревоге театральной,
ты отстранил легко и беспечально
в сухой венок свивающийся лавр
и скрыл навек чудовищный свой гений
под маскою, но гул твоих видений
остался нам: венецианский мавр
и скорбь его; лицо Фальстафа — вымя
с наклеенными усиками; Лир
бушующий... Ты здесь, ты жив — но имя,
но облик свой, обманывая мир,
ты потопил в тебе любезной Лете.
И то сказать: труды твои привык
подписывать — за плату — ростовщик,
тот Вильям Шекспир, что „Тень” играл в „Гамлете”,
жил в кабаках и умер, не успев
переварить кабанью головизну...

Дышал фрегат, ты покидал отчизну.
Италию ты видел. Нараспев
звал женский голос сквозь узор железа,
звал на балкон высокого инглеза,
томимого лимонною луной

на улицах Вероны. Мне охота
вообразать, что, может быть, смешной
и ласковый создатель Дон Кихота
беседовал с тобою — невзначай,
пока меняли лошадей — и, верно,
был вечер синь. В колодце, за таверной,
ведро звенело чисто... Отвечай,
кого любил? Откройся, в чьих записках
ты упомянут мельком? Мало ль низких,
ничтожных душ оставили свой след —
каких имен не сыщешь у Брантома!
Откройся, бог ямбического грома,
стоустый и немыслимый поэт!

Нет! В должный час, когда почуял — гонит
тебя Господь из жизни — вспоминал
ты рукописи тайные, и знал,
что твоего величия не тронет
молвы мирской бесстыдное клеймо,
что навсегда в пыли столетий зыбкой
пребудешь ты безликим, как само
бессмертие... И вдаль ушел с улыбкой.

Декабрь 1924 г.

ГАДАНЬЕ

К полуночи, в Сочельник,
под окнами воскрес
повырубленный ельник,
серебряный мой лес.

Средь лунного тумана
я залу отыскал.
Зажги, моя Светлана,
свечу между зеркал.

Заплавает по тазу
волшебный огонек;
причаливает сразу
ореховый челнок.

И в сумерках, где тает
под люстрой паркет,
пускай нам погадает
наш седенький сосед.

На выцветшей лазури
ты карты приготовь...
И дедушка то хмурит,
то вскидывает бровь.

И траурные пики
накладывает он
на лаковые лики
оранжевых бубен.

Ну что ж, моя Светлана,
туманится твой взгляд.
Прелестного обмана
нам карты не сулят.

Сам худо я колдую,
а дедушка в гробу,
и нечего седую
допрашивать судьбу.

В смеркающемся блеске
все уплывает вдаль,
хрустальные подвески
и белая рояль.

Огонь в скорлупке малой
потух... И ты исчез,
мой ельник небывалый,
серебряный мой лес.

1924 г.

МАТЬ

Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив,
спускается толпа, виясь между олив,
 подобно медленному змию;
и матери глядят, как под гору, в туман
увещающий уводит Иоанн
 седую, страшную Марию.

Уложит спать ее и сам приляжет он,
и будет до утра подслушивать сквозь сон
 ее рыдания и томленье.
Что, если у нее остался бы Христос
и плотничал, и пел? Что, если этих слез
 не стоит наше искупленье?

Воскреснет Божий Сын, сияньем окружен;
у гроба, в третий день, виденье встретит жен,
 вотще купивших ароматы;
свещающую плоть ощупает Фома;
от веянья чудес земля сойдет с ума,
 и будут многие распяты.

Мария, что тебе до бреда рыбарей!
Неосязаемо над горестью твоей
 дни проплывают, и ни в третий,
ни в сотый, никогда не вспрянет он на зов,
твой смуглый первенец, лепивший воробьев
 на солнцепеке, в Назарете.

Берлин, 1925 г.

ГЕРБ

Лишь отошла земля родная,
в соленой тьмедохнул норд-ост,
как меч алмазный, обнажая
среди облаков стремнину звезд.

Мою тоску, воспоминанья
клянусь я царственно беречь
с тех пор, как принял герб изгнанья:
на черном поле звездный меч.

1925 г.

КОНЬКОБЕЖЕЦ

Плясать на льду учился он у музыки,
у зимней Терпсихоры... Погляди:
открытый лоб и черные рейтузы,
и огонек медали на груди.

Он вьется, и под молнией алмазной
его непостижимого конька
ломается, растет звездообразно
узорное подобие цветка.

И вот на льду густом и шелковистом
подсолнух обрисован. Но постой —
не я ли сам, с таким певучим свистом,
коньком стиха блеснул перед тобой.

Оставил я один узор словесный,
мгновенно раскружившийся цветок.
И завтра снег бесшумный и отвесный
запорошит исчерченный каток.

1925 г.

ВЕСНА

Помчал на дачу паровоз.
Толпою легкой, оробелой
стволы избегают на откос:
дым засквозил волною белой
в апрельской пестроте берез.
В вагоне бархатный диванчик
еще без летнего чехла.
У рельс на желтый одуванчик
садится первая пчела.

Где был сугроб, теперь дырявый
продолговатый островок
вдоль зеленеющей канавы:
покрылся копотью, размок
весною пахнувший снежок.

В усадьбе сумерки и стужа.
В саду, на радость голубям,
блистает облачная лужа.
По старой крыше, по столбам,
по водосточному колену —
помазать наново пора
зеленой краской из ведра —
ложится весело на стену
тень лестницы и маляра.

Верхи берез в лазури свежей,
усадьба, солнечные дни
— все образы одни и те же,

все совершеннее они.
Вдали от ропота изгнания
живут мои воспоминанья
в какой-то неземной тиши:
бессмертно все, что невовратно,
и в этой вечности обратной
блаженство гордое души.

1925 г.

БЕРЛИНСКАЯ ВЕСНА

1

Нищетою необычной
на чужбине дорожу.
Утром в ратуше кирпичной
за конторкой не сижу.

Где я только не шатаюсь
в пустоте весенних дней!
И к подруге возвращаюсь
все позднее и поздней.

В полумраке стул задену
и, нащупывая свет,
так растопаясь, что в стену
стукнет яростно сосед.

Утром, он наполовину
открывать окно привык,
чтобы высунуть перину,
как малиновый язык.

Утром музыкант бродячий
двор наполнит до краев
при участии горячей
суматохи воровьев.

Понимают, слава Богу,
что всему я предпочту

дикую мою дорогу,
золотую нищету.

2

Когда весеннее мечтанье
влечет в синеющую мглу,
мне назначается свиданье
под тем каштаном на углу.

Его цветущая громада
туманно звездами сквозит.
Под нею — черная ограда
и ящик спереди прибит.

Я приникаю к самой щели,
ловлю волнующийся гам,
как будто звучно закипели
все письма, спрятанные там.

Еще листов не развернули,
еще никто их не прочел...
Гуди, гуди, железный улей,
почтовый ящик, полный пчел.

Над этим трепетом и звоном
каштан раскидывает кров,
и сладко в сумраке зеленом
сияют факелы цветов.

1925 г.

СОН

Однажды ночью подоконник
дождем был шумно орошен.
Господь открыл свой тайный сонник
и выбрал мне сладчайший сон.

Звуча знакомою тревогой,
рыданье ночи дом трясло.
Мой сон был синею дорогой
через тенистое село.

Под мягкой грудю колеса
скрипели глубоко внизу:
я навзничь ехал с сенокоса
на синем от теней возу.

И снова, тяжело, упрямо,
при каждом повороте сна
скрипела и кренилась рама
дождем дышавшего окна.

И я, в своей дремоте синей,
не знал, что истина, что сон:
та ночь на роковой чужбине,
той рамы беспокойный стон,

или ромашка в теплом сене
у самых губ моих, вот тут,

и эти лиственные тени,
что сверху кольцами текут...

1925 г.

ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ

Нам, потонувшим мореходам,
похороненным в глубине
под вечно движущимся сводом,
являлся старый порт во сне:

кайма сбегающая пены,
на камне две морских звезды,
из моря выросшие стены
в дрожащих отблесках воды.

Но выплыли и наши души,
когда небесная труба
пропела тонко, и на суше
распались с грохотом гроба.

И к нам туманная подходит
ладья апостольская, в лад
с волною дышит и наводит
огни двенадцати лампад.

Все, чем пленяла жизнь земная,
всю прелесть, теплоту, красу
в себе божественно вмещаю,
горит фонарик на носу.

Луч окунается в морские
им разделенные струи,
и наших душ ловцы благие
берут нас в тишину ладьи.

Плыви, ладья, в туман суровый,
в залив играющий влетай,
где ждет нас городок портовый,
как мы, перенесенный в рай.

1925 г.

КРУШЕНИЕ

В поля, под сумеречным сводом,
сквозь опрокинувшийся дым
прошли вагоны полным ходом
за паровозом огневым:

багажный — запертый, зловещий,
где сундуки на сундуках,
где обезумевшие вещи,
проснувшись, бухают впотьмах —

и четырех вагонов спальных
фанерой выложенный ряд,
и окна в молниях зеркальных
чредою беглою горят.

Там штору кожаную спустит
дремота, рано подоспев,
и чутко в стукотне и хрусте
отыщет правильный напев.

И кто не спит, тот глаз не сводит
с туманных впадин потолка,
где под сквозящей лампой ходит
кисть задвижного колпака.

Такая малость — винт некрепкий,
и вдруг под самой головой
чугун бегущий, обод цепкий
соскочит с рельсы роковой.

И вот по всей ночной равнине
стучит, как сердце, телеграф,
и люди мчатся на дрезине,
во мраке факелы подняв.

Такая жалость: ночь росиста,
а тут — обломки, пламя, стон...
Недаром дочке машиниста
приснилась насыпь, страшный сон:

Там, завывая на изгибе,
стремилось сонмище колес,
и двое ангелов на гибель
громадный гнали паровоз.

И первый наблюдал за паром,
смеясь, переставлял рычаг,
сияя перистым пожаром,
в летучий вглядывался мрак.

Второй же, кочегар крылатый,
стальной чешуей блистал,
и уголь черною лопатой
он в жар без усталости метал.

1925 г.

ТЕНЬ

К нам в городок приехал в гости
бродячий цирк на семь ночей.
Блестяли трубы на помосте,
надулись щеки трубачей.

На площадь, убранную странно,
мы все глядели — синий мрак,
собор святого Иоанна
и сотня пестрая зевак.

Дыханье трубы затаили,
и над бесшумною толпой
вдруг тишину переступили
куранты звонкою стопой.

И в вышине, перед старинным
собором, на тугой канат,
шестом покачивая длинным,
шагнул, сияя, акробат.

Курантов звон, который длился,
пока в нем пребывал Господь,
как будто в свет преобразился
и в вышине облекся в плоть.

Стена соборная шербата
и ослепительна была;
тень голубая акробата
подвижно на нее легла.

Все выше над резьбой портала,
где в нише — статуя и крест,
тень угловатая ступала,
неся свой вытянутый шест.

И вдруг над башней с циферблатом,
ночью схвачен синевой,
исчез он с трепетом крылатым —
прелестный облик теневой.

И снова заиграли трубы,
меж тем, как потен и тяжел,
в погасших блестках, гаер грубый
за подаяньем к нам сошел.

Шварцвальд, 1925 г.

ВЕРШИНА

Люблю я гору в шубе черной
лесов еловых, потому
что в темноте чужбины горной
я ближе к дому моему.

Как не узнать той хвои плотной
и как с ума мне не сойти
хотя б от ягоды болотной,
заголубевшей на пути.

Чем выше темные, сырые
тропинки выются, тем ясней
приметы с детства дорогие
равнины северной моей.

Не так ли мы по склонам рая
взбираться будем в смертный час,
все то любимое встречая,
что в жизни возвышало нас?

Шварцвальд, 1925 г.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Играй, реклама огневая,
над зеркалами площадей,
взбирайся, молния ручная,
слова пылающие сей.

Не те, угрозой священной
явившиеся письма,
что сладость отняли мгновенно
у вавилонского вина.

В цветах волшебного пожара
попроще что-нибудь пиши,
во славу ходкого товара,
в утеху бургерской души.

И в лакированной коробке,
в чревоуничтожителе гробу,
попуста штепсель и кнопка,
пой, говори, дуди в трубу.

И не погибель, а погоду
ты нам из рупора вещай.
Своею жизнью грей нам воду,
страницу книги освещай.

Беги по проводу трамвая,
бенгальской искрою шурша,
и ночь сырая, городская
тобою странно хороша.

Но иногда, когда нальется
грозою небо, иногда
земля притихнет вдруг, сожмется,
как бы от тайного стыда.

И вот — как прежде, неземная,
не наша, пролетаешь ты,
прорывы синие являя
непостижимой наготы.

И снова мир, как много сотен
глухих веков тому назад,
и неустойчив, и неплотен,
и Божьим пламенем объят.

1925 г.

ПРОХОЖИЙ С ЕЛКОЙ

На белой площади поэт
запечатлел твой силуэт.

Домой, в непраздничный мороз,
ты елку черную понес.

Пальто российское до пят.
Калоши по снегу скрипят.

С зубчатой елкой на спине
ты шел по ровной белизне,

сам черный, сгорбленный, худой,
уткнувшись в ворот бородой,

в снегах не наших площадей,
с немецкой елочкой своей.

И в поэтический овал
твой силуэт я врисовал.

1925 г.

ЛЫЖНЫЙ ПРЫЖОК

Для состязаний быстролетных
на том белеющем холму
вчера был скат на сваях плотных
сколочен. Лыжник по нему

съезжал со свистом; а пониже
скат обрывался: это был
уступ, где становились лыжи
четою ясеневых крыл.

Люблю я встать над бездной снежной,
потуже затянуть ремни...
Бери меня, наклон разбежный,
и в дивной пустоте — распни.

Дай прыгнуть, под гуденье ветра,
под трубы ангельских высот,
не семьдесят четыре метра,
а миль, пожалуй, девятьсот.

И небо звездное качнется,
легко под лыжами скользя,
и над Россией пресечется
моя воздушная стезя.

Увижу инистый Исакий,
огни мохнатые на льду,

и вольно прозвенеv во мраке,
как жаворонок, упаду.

Riesengebirge, 1926

UT PICTURA POESIS

М. В. Добужинскому

Воспоминанье, острый луч,
преобрази мое изгнание,
пронзи меня, воспоминанье
о баржах петербургских туч
в небесных ветреных просторах,
о закоулочных заборах,
о добрых лицах фонарей...
Я помню, над Невой моей
бывали сумерки, как шорох
тушающих карандашей.

Все это живописец плавный
передо мною развернул,
и, кажется, совсем недавно
в лицо мне этот ветер дул,
изображенный им в летучих
осенних листьях, зыбких тучах,
и плыл по набережной гул,
во мгле колокола гудели —
собора медные качели...

Какой там двор знакомый есть,
какие тумбы! Хорошо бы
туда перешагнуть, пролезть,
там постоять, где спят сугробы,
и плотно сложены дрова,
или под аркой, на канале,

где нежно в каменном овале
синеют крепость и Нева.

1926 г.

Пустьак — названье мачты, план — и следом
за чайкою взмывает жизнь моя;
и человек на палубе, под пледом,
вдыхающий сиянье — это я.

Я вижу на открытке глянцевиной
развратную залива синеву
и белозубый городок со свитой
несметных пальм, и дом, где я живу.

И в этот миг я с криком покажу вам
себя, себя — но в городе другом:
как попугай пощелкивает клювом,
так тереблю с открытками альбом.

Вот это — я и призрак чемодана;
вот это — я, по улице сырой
идуший в вас, как будто бы с экрана,
и расплывающийся слепотой.

Ах, чувствую в ногах отяжелевших,
как без меня уходят поезда,
и сколько стран еще меня не гревших,
где мне не жить, не греться никогда!

И в кресле путешественник из рая
описывает, руки заломив,
дымок из трубки с присвистом вбирая,
свою любовь — тропический залив.

1926 г.

КОМНАТА

Вот комната. Еще полуживая,
но оживет до завтрашнего дня.
Зеркальный шкаф глядит, не узнавая,
как ясное безумье, на меня.

В который раз выкладываю вещи,
знакомлюсь вновь с причудами ключей;
и медленно вся комната трепещет,
и медленно становится моей.

Совершено. Все призвано к участию
в моем существованье, каждый звук:
скрип ящика, своюю доброй пастью
пласты белья берущего из рук.

И рамы, запирающейся плохо,
стук по ночам — отмщенье за сквозняк;
возня мышей, их карликовый грохот,
и чей-то приближающийся шаг:

он никогда не подойдет вплотную;
как на воде за кругом круг, идет
и пропадает, и опять я чую,
как он вздохнул и двинулся вперед.

Включаю свет. Все тихо. На перину
свет падает малиновым холмом.
Все хорошо. И скоро я покину
вот эту комнату и этот дом.

Я много знал таких покорных комнат,
но пригляжусь, и грустно станет мне:
никто здесь не полюбит, не запомнит
старательных узоров на стене.

Сухую акварельную картину
и лампу в старом платице сквозном
забуду сам, когда и я покину
вот эту комнату и этот дом.

в другой пойду: опять однообразность
обоев, то же кресло у окна...
Но грустно мне: чем незаметней разность,
тем, может быть, божественней она.

И может быть, когда похолодеем
и в голый рай из жизни перейдем,
забывчивость земную пожалею,
не зная, чем обставить новый дом...

1926 г.

АЭРОПЛАН

Как поет он, как неожиданно
вспыхнул искрою стеклянной,
вспыхнул и поет,
там, над крышами, в глубоком
небе, где блестящим боком
облако встает.

В этот мирный день воскресный
чуден гул его небесный,
бархат громовой.
И у парковой решетки,
на обычном месте, кроткий
слушает слепой:

губы слушают и плечи —
тихий сумрак человеческий,
обращенный в слух.
Неземные реют звуки.
Рядом пес его со скуки
щелкает на мух.

И прохожий, деньги вынув,
замер, голову закинув,
смотрит, как скользят
крылья сизые, сквозные,
по лазури, где большие
облака блестят.

1926 г.

СНЫ

Странствуя, ночуя у чужих,
я гляжу на спутников моих,
я ловлю их говор тусклый.
Роковых я требую примет:
кто увидит родину, кто нет,
кто уснет в земле нерусской.

Если б знать. Ведь странникам даны
только сны о родине, а сны
ничего не переменят.
Что таить — случается и мне
видеть сны счастливые: во сне
я со станции в именье

еду, не могу сидеть, стою
в тарантасе тряском, узнаю
все толчки весенних рытвин,
еду, с непокрытой головой,
белый, что платок твой, и с душой
слишком полной для молитвы.

Господи, я требую примет:
кто увидит родину, кто нет,
кто уснет в земле нерусской.
Если б знать. За годом валит год,
даже тем, кто верует и ждет,
даже мне бывает грустно.

Только сон утешит иногда.
Не на области и города,
 не на волости и села,
вся Россия делится на сны,
что несметным странникам даны
 на чужбине, ночью долгой.

1926 г.

ПРЕЛЕСТНАЯ ПОРА

В осенний день, блистая, как стекло,
потрескивая крыльями, стрекозы
над лугом вьются. В Оредежь глядится
сосновый лес, и тот, что отражен, —
яснее настоящего. Опавшим
листом шурша, брожу я по тропам,
где быстрым, шелковистым поцелуем
луч паутины по лицу пройдет
и вспыхнет радугой. А небо — небо
сплошь синее, насыщенное светом,
и нежит землю, и земли не видит.

Задумчивый, в усадьбу возвращаюсь.
В гостиной печь затоплена, и в вазах
мясистые теснятся георгины.
Пишу стихи, валяясь на диване,
и все слова без цвета и без веса —
не те слова, что в будущем найдет
воспоминанье. В комнате соседней
играют в бикс: прерывисто, по капле,
по капельке сбегает тонкий звон.

Как перед тем, чтоб на зиму уехать,
в гербарий, на шершавую страницу
кладешь очаровательно-увядший
кленовый лист, полоскою бумаги
приклеиваешь стебель, пишешь дату,
чтоб вновь раскрыть альбом благоуханный,
да вспомнить деревенский сад, найдя

багряный лист, оранжевый по краю, —
так, некогда, осенний ясный день
я сохранил и ныне им люблюсь.

1926 г.

ГОДОВЩИНА

В те дни, дай Бог, от краю и до краю
гражданская повеет благодать:
все сбудется, о чем за чашкой чаю
мы на чужбине любим погадать.

И вот последний человек на свете,
кто будет помнить наши времена,
в те дни на оглушительном банкете,
шалея от волненья и вина,

дрожащий, слабый, в дряхлом умиленье
поднимется... Но нет, он слишком стар:
черта изгнания тает в отдаленье,
и ничего не помнит юбиляр.

Мы будем спать, минутные поэты;
я, в частности, прекрасно буду спать,
в бою случайном ангелом задетый,
в родимый прах вернувшийся опять.

Библиофил какой-нибудь, я чую,
найдет в былых, не нужных никому
журналах, отпечатанных вслепую
нерусскими наборщиками, тьму

статей, стихов, чувствительных романов
о том, как Русь была нам дорога,
как жил Петров, как странствовал Иванов,
и как любил покорный ваш слуга.

Но подписи моей он не отметит:
забыто все. И, Муза, не беда.
Давай блуждаѣ, давай глазеть, как дети,
на проносящиеся поезда.

на всякий блеск, на всякое движенье,
предоставляя выпрежнему глупцам
бранить наш век, пенять на сновиденье,
единный раз дарованное нам.

1926 г.

СНИМОК

На пляже в полдень лиловатый,
в морском каникульном раю
снял купальщик полосатый
свою счастливую семью.

И замирает мальчик голый,
и улыбается жена,
в горячий свет, в песок веселый,
как в серебро, погружена.

И полосатым человеком
направлен в солнечный песок,
мигнул и щелкнул черным веком
фотографический глазок.

Запечатлела эта пленка
все, что могла она поймать:
оцепеневшего ребенка,
его сияющую мать,

и ведро, и две лопаты,
и в стороне песчаный скат.
И я, случайный соглядатай,
на заднем плане тоже снят.

Зимой в неведомом мне доме
покажут бабушке альбом,
и будет снимок в том альбоме,
и буду я на снимке том:

мой облик меж людьми чужими,
один мой августовский день,
моя незнаемая ими,
вотще украденная тень.

Бинц, 1927 г.

В РАЮ

Моя душа, за смертью дальней
твой образ виден мне вот так:
натуралист провинциальный,
в раю потерянный чужак.

Там в роще дремлет ангел дикий,
полулавинье существо.
Ты любознательно потыкай
зеленым зонтиком в него,

соображая, как сначала
о нем напишешь ты статью,
потом... но только нет журнала,
и нет читателей в раю.

И ты стоишь, еще не веря
немому горю своему:
об этом синем сонном звере
кому расскажешь ты, кому?

Где мир и названные розы,
музей и птичьи чучела?
И смотришь, смотришь ты сквозь слезы
на безымянные крыла.

Берлин, 1927 г.

РАССТРЕЛ

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, —
вот-вот сейчас пальнет в меня —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознания
коснется тиканье часов,
благополучного изгнания
я снова чувствую покров.

Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг.

Берлин, 1927 г.

ПАЛОМНИК

Хозяин звезд и ветра зычного,
и вьющихся дорог,
бог-виноградарь, бог коричневый,
смеющийся мой бог,
позволь зарю в стакан мой выдавить,
чтобы небесный хмель
понес, умчал меня за тридевять
синеющих земель.
Я возвращусь в усадьбу отчую
среди клеверных полей;
дом обойду, зерном попотчую
знакомых голубей.
Дни медленные, деревенские...
ложится жаркий свет
на скатерть и под стулья венские
решеткой на паркет.
Там в доме с радужной верандою,
с березой у дверей,
в халате старом проваландаю
остаток жизни сей.
Но часто, ночью, гул бессонницы
нахлынет на постель,
тряхнет, замрет и снова тронется,
как поезд сквозь метель.
И я тогда услышу: вспомни-ка
рыдающий вагон
и счастье странного паломника,
чья Мекка там, где он.
Он рад бывал, скитаясь по миру,

озерам под луной,
вокзалам громовым и номеру
в гостинице ночной.
О, как потянет вдруг на яркую
чужбину, в дальний путь,
как тяжело к окну прошаркаю,
как захочу вернуть
все то дрожащее, весеннее,
что плакало во мне,
и — всякой яви совершеннее —
сон о родной стране.

1927 г.

СНОВИДЕНИЕ

Будильнику на утро задаю
урок, и в сумрак отпускаю,
как шар воздушный, комнату мою,
и облегченно в сон вступаю.

Меня берет — уже во сне самом —
как бы вторичная дремота.
Туманный стол. Сидящих за столом
не вижу. Все мы ждем кого-то.

Фонарь карманный кто-то из гостей
на дверь, как пистолет, наводит.
и, ростом выше и лицом светлей,
убитый друг со смехом входит.

Я говорю без удивленья с ним
живым, и знаю, нет обмана.
Со лба его сошла, как легкий грим,
смертельная когда-то рана.

Мы говорим. Мне весело. Но вдруг
— заминка, странное стесненье.
Меня отводит в сторону мой друг
и что-то шепчет в объясненье.

Но я не слышу. Длительный звонок
на представление созывает:
будильник повторяет свой урок,
и день мне веки прорывает.

Лишь миг один неправильный на вид
мир падает, как кошка, сразу
на все четыре лапы, и стоит,
знакомый разуму и глазу.

Но, Боже мой, — когда припомнишь сон,
случайно, днем, в чужой гостиной,
или, сверкнув, придет на память он
пред оружейною витриной,

как благодарен силам неземным,
что могут мертвые нам сниться.
Как этим сном, событием ночным,
душа смятенная гордится!

1927 г.

БИЛЕТ

На фабрике немецкой, вот сейчас,
— дай рассказать мне, муза, без волнения! —
— на фабрике немецкой, вот сейчас,
все в честь мою, идут приготовления.

Уже машина говорит: „жую;
бумажную выглаживаю кашу;
уже пласты другой передаю”.
Та говорит: „нарежу и подкрашу”.

Уже найдя свой правильный размах,
стальное многорукое создание
печатает на розовых листах
невероятной станции название.

И человек бесстрастно рассует
те лепестки по ящикам в конторе,
где на стене глазастый пароход
и роща пальм, и северное море.

И есть уже на свете много лет
тот равнодушный, медленный приказчик,
который выдвинет заветный ящик
и выдаст мне на родину билет.

1927 г.

РОДИНА

Бессмертное счастье наше
Россией зовется в веках.
Мы края не видели краше,
а были во многих краях.

Но где бы стезя ни бежала,
нам русская снилась земля.
Изгнание, где твое жало,
чужбина, где сила твоя?

Мы знаем молитвы такие,
что сердцу легко по ночам;
и гордые музы России
незримо сопутствуют нам.

Спасибо дремучему шуму
лесов на равнинах родных,
за ими внушенную думу,
за каждую песню о них.

Наш дом на чужбине случайной,
где мирен изгнанника сон,
как ветром, как морем, как тайной,
Россией всегда окружен.

1927 г.

КИНЕМАТОГРАФ

Люблю я световые балаганы
все безнадежнее и все нежней.
Там сложные вскрываются обманы
простым подслушиваньем у дверей.

Там для распутства символ есть единый —
бокал вина; а добродетель — шьет.
Между чертами матери и сына
острейший глаз там сходства не найдет.

Там, на руках, в автомобиль огромный
не чуждый сострадания богатея
усердно вносит барышен бездомных,
в тигровый плед закутанных детей.

Там письма спешно пишутся средь ночи:
опасность... трепет... поперек листа
рука бежит... И как разборчив почерк,
какая писарская чистота!

Вот спальня озаренная. Смотрите,
как эта шаль упала на ковер.
Не виден ослепительный юпитер,
не слышен раздраженный режиссер;

но ничего там жизнью не трепещет:
пытливый гость не может угадать
связь между вещью и владельцем вещи,
житейского особую печать.

О, да! Прекрасны гонки, водопады,
вращение зеркальной темноты.
Но вымысел? Гармонии улада?
Ума полет? О, Муза, где же ты?

Утопит злого, доброго поженит,
и снова, через веи и века,
спешит роскошное воображение
самоуверенного пошляка.

И вот — конец... Рояль незримый умер,
темно и незначительно пожив.
Очнулся мир, прохладою и шумом
растаявшую выдумку сменив.

И со своей подругою приказчик,
встречая ветра влажного напор,
держа ладонь над спичкою горящей,
насмешливый выносит приговор.

1928 г.

ОТ СЧАСТИЯ ВЛЮБЛЕННОМУ НЕ СПИТСЯ

От счастья влюбленному не спится;
стучат часы; купцу седому снится
в червонном небе вычерченный кран,
спускающийся медленно над трюмом;
мерещится изгнанникам угрюмым
в цвет юности окрашенный туман.

В волнение повседневности прекрасной,
где б ни был я, одним я обуян,
одно зовет и мучит ежечасно:

на освещенном острове стола
граненый мрак чернильницы открытой,
и белый лист, и лампы свет, забытый
под куполом зеленого стекла.

И поперек листа полупустого
мое перо, как черная стрела,
и недописанное слово.

Берлин, 1928 г.

ЛИЛИТ

Я умер. Яворы и ставни
горячий теребил Эол
вдоль пыльной улицы.

Я шел,
и фавны шли, и в каждом фавне
я мнил, что Пана узнаю:
„Добро, я, кажется, в раю.”

От солнца заслонясь, сверкая
подмышкой рыжею, в дверях
вдруг встала девочка нагая
с речною лилией в кудрях,
стройна, как женщина, и нежно
цвели сосцы — и вспомнил я
весну земного бытия,
когда из-за ольхи прибрежной
я близко-близко видеть мог,
как дочка мельника меньшая
шла из воды, вся золотая,
с бородкой мокрой между ног.

И вот теперь, в том самом фраке,
в котором был вчера убит,
с усмешкой хищною гуляки
я подошел к моей Лилит.
Через плечо зеленым глазом
она взглянула — и на мне
одежды вспыхнули и разом
испепелились.

В глубине
был греческий диван мохнатый,
вино на столике, гранаты,
и в вольной росписи стена.
Двумя холодными перстами
по-детски взяв меня за плеча:
„Сюда,” промолвила она.
Без принуждения, без усилия,
лишь с медленностью озорной,
она раздвинула, как крылья,
свои коленки предо мной.
И обольстителен и весел
был запрокинувшийся лик,
и яростным ударом чресел
я в незабытую проник.
Змея в змее, сосуд в сосуде,
к ней пригнанный, я в ней скользил,
уже восторг в растущем зуде
неописуемый сквозил, —
как вдруг она легко рванулась,
отпрянула, и ноги сжав,
вуаль какую-то подняв,
в нее по бедра завернулась,
и полон сил, на полпути
к блаженству, я ни с чем остался
и ринулся и зашатался
от ветра странного. „Впусти,”
я крикнул, с ужасом заметя,
что вновь на улице стою,
и мерзко блеющие дети
глядят на булаву мою.
„Впусти,” — и козлоногий, рыжий
народ все множился. „Впусти же,
иначе я с ума сойду!”
Молчала дверь. И перед всеми

мучительно я пролил семя
и понял вдруг, что я в аду.

Берлин, 1928 г.

РАССТРЕЛ

Небритый, смеющийся, бледный,
в чистом еще пиджаке,
без галстука, с маленькой медной
запонкой на кадыке,

он ждет, и все зримое в мире —
только высокий забор,
жестянка в траве и четыре
дула, смотрящих в упор.

Так ждал он, смеясь и мигая,
на именинах не раз,
чтоб магний блеснул, озаряя
белые лица без глаз.

Все. Молния боли железной.
Неумолимая тьма.
И воя, кружится над бездной
ангел, сошедший с ума.

1928 г.

ОСТРОВА

В книге сказок помню я картину:
ты да я на башне угловой.
Стань сюда, и снова я застыну
на ветру, с протянутой рукой.

Там, вдали, где волны завитые
переходят в дымку, различи
острова блаженства, как большие
фиолетовые куличи.

Ибо золотистыми перстами
из особой сладостной земли
пекаря с кудрявыми крылами
их на грани неба испекли.

И должно быть легче там и краше,
и, пожалуй, мы б пустились в даль,
если б наших книг, собаки нашей
и любви нам не было так жаль.

1928 г.

КИРПИЧИ

Ища сокровищ позабытых
и фараоновых мошей,
ученый в тайниках разрытых
набрел на груды кирпичей,
среди которых был десяток
совсем особенных: они
хранили беглый отпечаток
босой младенческой ступни,
собачьей лапы и копытца
газели. Многое за них
лихому времени простится –
безрукий мрамор, темный стих,
обезображенные фрески...

Как это было? В синем блеске
я вижу красоту песков.
Жара. Полуденное время.
Еще одиннадцать веков
до звездной ночи в Вифлееме.

Кирпичник спит, пока лучи
пекут, работают беззвучно.
Он спит, пока благополучно
на солнце сохнут кирпичи.
Но вот по ним дитя ступает,
отцовский позабыв запрет,
то скачет, то перебегает,
невольный вдавливая след,
меж тем, как, вкруг него играя,

собака и газель ручная
пускаются вперегонки.
Внезапно — окрик, тень руки:
конец летучему веселью.
Дитя с собакой и газелью
скрывается. Все горячей
синее небо. Сохнут чинно
ряды лиловых кирпичей.

Улыбка вечности невинна.
Мир для слепцов необъясним,
но зрячим все понятно в мире,
и ни одна звезда в эфире,
быть может, не сравнится с ним.

1928 г.

СИРЕНЬ

Ночь в саду, послушная волненью,
нарастающему в тишине,
потянулась, дрогнула сиренью,
серой и пушистой при луне.

Смешанная с жимолостью темной,
всколыхнулась молодость моя.
И скользнула, при луне огромной,
белизной решетчатой скамья.

И опять на листья без дыханья
пали грозди смутной чередой.
Безымянное воспоминанье,
не засни, откройся мне, постой.

Но едва пришедшая в движенье
ночь моя, туманна и светла,
как в стеклянной двери отраженье,
повернулась плавно и ушла.

1928 г.

К РОССИИ

Мою ладонь географ строгий
разрисовал: тут все твои
большие, малые дороги,
а жилы — реки и ручьи.

Слепец, я руки простираю
и все земное осязаю
через тебя, страна моя.
Вот почему так счастлив я.

И если правда, что намердни
мне померещилось во сне,
что час беспечный, час последний
меня найдет в чужой стране,

как на покато́й школьной парте,
совьешься ты подобно карте,
как только отпущу края,
и ляжешь там, где лягу я.

1928 г.

СТАНСЫ О КОНЕ

На полотнищах, озаренных
игрой малиновых лучей,
условный выгиб окрыленных
наполеоновых коней.

И цирковое полнолуние,
огромный, снежный круп, оплот
сосредоточенной плясуны;
песок, и музыка, и пот.

И всадник, по лесу спешащий,
седла поскрипыванье, хруст;
волною счастья шуршащий
по голенищу влажный куст.

И ты, лирическое имя
в газете уличной, скакун,
гнедым огнем летящий мимо
тобою вспыхнувших трибун.

И столь покорный конь манежный,
и фальконетов конь живой.
Но самый жалостный и нежный,
невыносимый образ твой:

обросший шерстью с голодухи,
не чующий моей любви,

и без конца щекочут мухи
ресницы длинные твои.

1929 г.

Для странствия ночного мне не надо
ни кораблей, ни поездов.
Стоит луна над шашечницей сада.
Окно открыто. Я готов.

И прыгает с беззвучностью привычной,
как ночью кот через плетень,
на русский берег речки пограничной
моя беспаспортная тень.

Таинственно, легко, неуязвимо
ложусь на стены чередой,
и в лунный свет, и в сон, бегущий мимо,
напрасно метит часовой.

Лечу лугами, по лесу танцую —
и кто поймет, что есть один,
один живой на всю страну большую,
один счастливый гражданин.

Вот блеск Невы вдоль набережной длинной.
Все тихо. Поздний пешеход,
встречая тень среди площади пустынной,
воображение клянет.

Я подхожу к неведомому дому,
я только место узнаю...
Там, в темных комнатах, все по-другому
и все волнует тень мою.

Там дети спят. Над уголком подушки
я наклоняюсь, и тогда
им снятся прежние мои игрушки,
и корабли, и поезда.

1929 г.

К МУЗЕ

Я помню твой приход: растущий звон,
волнение, неведомое миру.
Луна сквозь ветки тронула балкон,
и пала тень, похожая на лиру.

Мне, юному, для неги плеч твоих
казался ямб одеждой слишком грубой.
Но был певуч неправильный мой стих
и улыбался рифмой красногубой.

Я счастлив был. Над гаснувшим столом
огонь дрожал, вылушивал огарок;
и снилось мне: страница под стеклом,
бессмертная, вся в молниях помарок.

Теперь не то. Для утренней звезды
не откажусь от утренней дремоты.
Мне не под силу многие труды,
особенно тщеславия заботы.

Я опытен, я скуп и нетерпим.
Натертый стих блистает чище меди.
Мы изредка с тобою говорим
через забор, как старые соседи.

Да, зрелость живописна, спору нет:
лист виноградный, груша, пол-арбуза

и — мастерства предел — прозрачный свет.
Мне холодно. Ведь это осень, муза.

Берлин, 1929 г.

ТИХИЙ ШУМ

Когда в приморском городке,
среди ночи пасмурной, со скуки
окно откроешь, вдалеке
прольются шепчущие звуки.

Прислушайся и различи
шум моря, дышащий на сушу,
оберегающий в ночи
ему внимающую душу.

Весь день невнятен шум морской,
но вот проходит день незванный,
позванивая, как пустой
стакан на полочке стеклянной.

И вновь в бессонной тишине
открой окно свое пошире,
и с морем ты наедине
в огромном и спокойном мире.

Не моря шум — в тиши ночной
иное слышно мне гуденье:
шум тихий родины моей,
ее дыханье и биенье.

В нем все оттенки голосов
мне милых, прерванных так скоро,
и пенье пушкинских стихов,
и ропот памятного бора.

Отдохновенье, счастье в нем,
благословенье над изгнанием.
Но тихий шум не слышен днем
за суетой и дребезжаньем.

Зато в полночной тишине
внимает долго слух неспящий
стране родной, ее шумящей,
ее бессмертной глубине.

Ле Булю, 1929 г.

ОБЛАКА

Насмешлива, медлительна, легка
их мимика средь синего эфира.
Объятаям подражают облака.

Ленивая небесная сатира
на тщание географа, на лик
изменчивый начертанного мира;

грызет лазурь морская материк.
И — масками чудовищными — часто
проходят образы земных владык:

порою, в профиль мертвенно-лобастый
распухнет вдруг воздушная гора,
и тает вновь, как тает коренастый

макроцефал, которого вчера
лепили дети красными руками,
а нынче точит оттепель с утра.

И облака плывут за облаками.

25. 8. 29.

На смерть Ю. И. Айхенвальда

Перешел ты в новое жилище,
и другому отдадут на днях
комнату, где жил писатель нищий,
иностранец с книгою в руках.

Тихо было в комнате: страница
изредка шуршала; за окном
вспыхивала темная столица
голубым трамвайным огоньком.

В плотный гроб судьба тебя сложила,
как очки разбитые в футляр...
Тихо было в комнате, но жило
в ней волнение, сокровенный жар.

Ничего не слышали соседи,
а с тобою голос говорил,
то как гул колышущейся меди,
то как трепет ласточкиных крыл,

голос муз, высокое веселье...
Для тебя тот голос не потух
там, где неземное новоселье
ныне празднует твой дух.

Берлин, 1929 г.

Вздохнуть поглубже и, до плеч
в крылья вдев расправленные руки,
с подоконника на воздух лечь
и лететь, наперекор науке,
с переменным трепетом стрижа;
вдоль сада пронестись, и метить прямо
в стену, и, перешагнув, над самой
землей скользнуть, и в синеву, дрожа,
взмыть...

Боюсь, не вынесу полета...
Нет, вынес. На полу сию впотьмах,
и в глазах пестро, и шум в ушах,
и блаженная в плечах ломота.

1929 г.

ВОЗДУШНЫЙ ОСТРОВ

Средь пустоты, над полем дальним,
пласты закатных облаков
казались призраком зеркальным
океанических песков.

Как он блистает, берег гладкий,
необитаемый... Толчок,
дно поднимается под пяткой,
и выхожу я на песок.

Дрожа от свежести и счастья,
стою я, новый Робинзон,
на этой отмели блестящей,
пустой лазурью окружен.

И странно вспоминать минуту
недоумения, когда
нащупала мою каюту
и хищно хлынула вода;

когда она, вращаясь зыбко
в нетерпеливости слепой,
внесла футляр от чьей-то скрипки
и фляжку унесла с собой.

О том, как палуба трещала,
приняв смертельную волну,
о том, как музыка играла,
пока мы бурно шли ко дну,

пожалуй будет и нетрудно
мне рассказать когда-нибудь...
Да что ж мечтать, какое судно
на остров мой направит путь.

Он слишком призрачен, воздушен.
О нем не знают ничего.
К нему создатель равнодушен.
Он меркнет, тает... нет его.

И я охвачен темнотою,
и сладостно в ушах звеня,
и вздрагивая под рукою,
проходят звезды сквозь меня.

1929 г.

Шел поезд между скал в ущелии глубоком,
поросшем золотым утесником и дроком;
порой влетал в туннель с отрывистым свистком,
сначала — чернота гремящая, потом —
как будто отсветы сомнительные в гроте,
и снова — яркий день; порой на повороте
был виден из окна сгибающийся змей
вагонов позади и головы людей,
облокотившихся на спущенные рамы.
Сочился апельсин очищенный.

Но самый
прелестный, может быть, из случаев в пути,
когда, без станции, как бы устав идти,
задумывался вдруг мой поезд. Как спокойно,
как солнечно кругом... С назойливостью знойной
одни кузнечики звенят наперебой.
Ища знакомых черт, мне ветерок слепой
потрагивает лоб, и мучась беззаконным
желаньем, я гляжу на вид в окне вагонном
и упустить боюсь возможную любовь,
и знаю — упущу. Едва ль увижу вновь,
едва ль запомню я те камни, ту поляну,
и вон на ту скалу я никогда не встану.

10-11. 3. 30.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Еще темно. В оркестре стеснены
скелеты музыки, и пусто в зале.
Художнику еще не заказали
густых небес и солнечной стены.

Но толстая растерзана тетрадь,
и розданы страницы лицедеям.
На чердаках уже не холодеем.
Мы ожили, мы начали играть.

И вот сажусь на выпцветший диван
с невидимой возлюбленною рядом,
и голый стол следит собачьим взглядом,
как я беру невидимый стакан.

А утром собираемся в аду,
где говорим и ходим, громоухая.
Еще темно. Уборщица глухая
одна сидит в тринадцатом ряду.

Настанет день. Ты будешь королем.
Ты — поселянкой с кистью винограда.
Вы — нищими. А ты, моя отрада,
сама собой, но в платье дорогом.

И вот настал. Со стороны земли
замрела пыль. И в отдаленье зримы,
идут, идут кочующие мимы,
и музыка слышна, и вот пришли.

Тогда-то небожителям нагим
и золотым от райского загара,
исполненные нежности и жара,
представим мир, когда-то милый им.

1930 г.

СНЕГ

О, этот звук! По снегу –
скрип, скрип, скрип –
в валенках кто-то идет.

Толстый крученный лед
остриями вниз с крыши повис.
Снег скрипуч и блестящ.
(О, этот звук!)

Салазки сзади не тащатся –
сами бегут, в пятки бьют.

Сяду и съеду
по крутому, по ровному:
валенки врозь,
держусь за веревочку.

Отходя ко сну,
всякий раз думаю:
может быть удосужится
меня посетить
тепло одетое, неуклюжее
детство мое.

Берлин, 1930 г.

БУДУЩЕМУ ЧИТАТЕЛЮ

Ты, светлый житель будущих веков,
ты, старины любитель, в день урочный
откроешь антологию стихов,
забытых незаслуженно, но прочно.

И будешь ты как шут одет на вкус
моей эпохи фрачной и сюртучной.
Облокотись. Прислушайся. Как звучно
былое время — раковина муз.

Шестнадцать строк, увенчанных овалом
с неясной фотографией... Посмей
побрезговать их слогом обветшалым,
опрятностью и бедностью моей.

Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен.
К тебе на грудь я прынул через мрак.
Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк
из прошлого... Прощай же. Я доволен.

1930 г.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

В листве березовой, осиновой,
в конце аллеи у мостка,
вдруг падал свет от платья синего,
от василькового венка.

Твой образ легкий и блистающий
как на ладони я держу,
и бвбочкой неулетающей
благоговейно дорожу.

И много лет прошло, и счастливо
я прожил без тебя, а все ж
порой я думаю опасливо:
жива ли ты, и где живешь.

Но если встретиться нежданная
судьба заставила бы нас,
меня бы, как уродство странное,
твой образ нынешний потряс.

Обиды нет неизъяснимее:
ты чуждой жизнью обросла.
Ни платья синего, ни имени
ты для меня не сберегла.

И все давным-давно просрочено,
и я молюсь, и ты молишь,

чтоб на утоптанной обочине
мы в тусклый вечер не сошлись.

1930 г.

УЛЬДАБОРГ

(перевод с зоорландского)

Смех и музыка изгнаны. Страшен
Ульдаборг, этот город немой.
Ни садов, ни базаров, ни башен,
и дворец обернулся тюрьмой:

математик там плачется кроткий,
там — великий бильярдный игрок.
Нет прикрас никаких у решетки.
О, хотя бы железный цветок,

хоть бы кто-нибудь песней прославил,
как на площади, пачкая снег,
королевских детей обезглавил
из Торвальта силач-дровосек.

И какой-то назойливый нищий
в этом городе ранних смертей,
говорят, все танцмейстера ищет
для покойных своих дочерей.

Но последний давно удавился,
сжег последнюю скрипку палач,
и в Германию переселился
в опаленных лохмотьях скрипач.

И хоть праздники все под запретом
(на молу фейерверки весной

и балы перед ратушей летом),
будет праздник, и праздник большой.

Справа горы и Воцберг алмазный,
слева сизое море горит,
а на площади шепот бессвязный:
Ульдаборг обо мне говорит.

Озираются, жмутся тревожно.
Что за странные лица у всех!
Дико слушают звук невозможный:
я вернулся, и это мой смех —

над запретами голого цеха,
над законами глухонемых,
над пустым отрицанием смеха,
над испугом сограждан моих.

Погляжу на знакомые дюны,
на алмазную в небе гряды,
глубже руки в карманы засуну
и со смехом на плаху взойду.

1930 г.

ОКНО

Соседний дом в сиренях ночи тонет,
и сумраком становится он сам.
Кой-где забыли кресло на балконе,
не затворили рам.

Внезапно, как раскрывшееся око,
свет зажигается в одном из окон.
к буфету женщина идет.

А тот уж знает, что хозяйке надо,
и жители хрустальные ей рады,
и одного она берет.

Бесшумная, сияя желтым платьем,
протягивает руку, и невнятен
звук выключателя: трик-трак.

Сквозь темноту наклонного паркета
уходит силуэт тропинкой света,
дверь закрывается, и — мрак.

Но чем я так пронзительно взволнован,
откуда эта радость бытия?
И опытом каким волшеббно-новым
обогатился я?

1930 г.

ИЗ КАЛМБРУДОВОЙ ПОЭМЫ
„НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ”
(Vivian Calmbrood’s „The Night Journey“)

От Меррифильда до Ольдгрова
однообразен перегон:
все лес да лес со всех сторон.
Ночь холодна, луна багрова.
Тяжелым черным кораблем
проходит дилижанс, и в нем
спят пассажиры, спят, умаясь:
бессильно клонится чело
и вздрагивает, поднимаясь,
и снова никнет тяжело.
И смутно слышатся среди мрака
приливы и отливы снов,
храпенье дюжины носов.

В ту ночь осеннюю однако
был у меня всего один
попутчик: толстый господин
в очках, в плаще, в дорожном пледе.
По кашлю судя, он к беседе
был склонен, и пока рыдван
катился грузно сквозь туман,
и жаловались на ухабы
колеса, и скрипела ось,
и все трещало и тряслось,
разговорились мы.
„Когда бы
(со вздохом начал он) меня

издатель мой не потревожил,
я б не покинул мест, где прожил
все лето с Троицына дня.
Вообразите гладь речную,
березы, вересковый склон.
Там жил я, драму небольшую
писал из рыцарских времен;
ходил я в сюртучке потертом;
с соседом, с молодым Вордсвортом,
удил форелей иногда
(его стихам вредит вода,
но человек он милый), — словом,
я счастлив был — и признаюсь,
что в Лондон с манускриптом новым
без всякой радости тащусь.

В лирическом служенье музе,
в изображении стихий
люблю быть точным: щелкнул кий,
и слово правильное в лузе;
а вот изволь-ка, погрузясь
в туман и лондонскую грязь,
сосредоточить вдохновенье:
все расплывается, дрожит,
и рифма от тебя бежит,
как будто сам ты привиденье.
Зато как сладко для души
в деревне, где-нибудь в глуши,
внимая думам тиховейным,
котенка за ухом чесать,
ночь многозвездную вкушать
и запивать ее портвейном,
и очинив перо острей,
все тайное в душе своей
певучей предавать огласке.

Порой слежу не без опаски
за резвою игрой стиха:
он очень мил, он просит ласки,
но далеко ли до греха?
Так одномесечный тигренок
по-детски мягок и пузат,
но как он шуруется спросонок,
какие огоньки сквозят...
Нет, я боюсь таких котят.

Вам темным кажется сравненье?
Пожалуй выразюсь ясней:
есть кровожадное стремленье
у музы ласковой моей —
пороки бичевать со свистом,
тигрицей прядать огневой,
впиваться вдруг стихом когтистым
в загривок пошлости людской.
Да здравствует сатира! Впрочем,
нет пищи для нее в глухом
журнальном мире, где хлопочем
мы о бессмертии своем.
Дни Ювенала отлетели.
Не воспевать же в самом деле,
как за крапленую статью
побили Джонсона скандалом?
Нет воздуха в сем мире малом.
Я музу увожу мою.
Вы спросите, как ей живется,
привольно ль, весело? О, да.
Идет, молчит, не обернется,
хоть пристают к ней иногда
сомнительные господа.
К иному критику в немилость
я попадаю оттого,

что мне смешна его унылость,
чувствительное кумовство,
суждений томность, слог жеманный,
обида отзвук постоянный,
а главное — стихи его.
Бедняга! Он скрипит костями,
бренча на лире жестяной;
он клонится к могильной яме
адамовою головой.
И вообще: поэты много
о смерти ныне говорят;
венки и выцветшая тога —
обыкновенный их наряд.
Ущерб, закат... Петроний новый
с полуулыбкой на устах,
с последней розой бирюзовой
в изящно сложенных перстах,
садится в ванну. Все готово.
Уж вольной смерти близок час.
Но погоди! Чем резать жилу,
не лучше ль обратиться к мылу,
не лучше ль вымыться хоть раз?"

.....

Сей разговор литературный
не занимал меня совсем.
Я сам, я сам пишу недурно,
и что мне до чужих поэм?
Но этот облик, этот голос...
Нет, быть не может...

Между тем
заря с туманами боролась,
уже пронизывала тьму,
и вот к соседу моему
луч осторожный заструился,

на пальце вспыхнуло кольцо,
и подбородок осветился,
а погода и все лицо.
Тут я не выдержал. „Скажите,
как ваше имя?” Смотрит он
и отвечает: „Я — Ченстон”.

Мы обнялись.

1931 г.

ФОРМУЛА

Сутулится на стуле
беспалое пальто.
Потемки обманули,
почудилось не то.

Сквозняк прошел недавно,
и душу унесло
в раскрывшееся плавно
стеклянное число.

Сквозь отсветы пропущен
сосудов цифровых,
раздут или расплющен
в алембиках кривых,

мой дух преображался:
на тысячу колец,
вращаясь, размножался
и замер наконец

в хрустальнейшем застое,
в отличнейшем Ничто,
а в комнате пустое
сутулится пальто.

Берлин, 1931 г.

ПОМПЛИМУСУ

Прекрасный плод, увесистый и гладкий,
ты светишься, как полная луна;
глухой сосуд амброзии несладкой,
душистый холод белого вина.

Лимонами блистают Сиракузы,
Миньону соблазняет апельсин,
но ты один достоин жажды Музы,
когда она спускается с вершин.

1931 г.

НЕОКОНЧЕННЫЙ ЧЕРНОВИК

Поэт, печалью промышляя,
твердит прекрасному: прости.
Он говорит, что жизнь земная —
слова на поднятой в пути
— откуда вырванной? — странице
(не знаем и швыряем прочь),
или пролет мгновенной птицы
через светлый зал из ночи в ночь.

Зоил (пройдоха величавый,
корыстью занятый одной)
и литератор площадной
(тревожный арендатор славы)
меня страшатся потому,
что зол я, холоден и весел,
что не служу я никому,
что жизнь и честь мою я взвесил
на пушкинских весах, и честь
осмеливаюсь предпочесть.

Берлин, 1931 г.

ВЕЧЕР НА ПУСТЫРЕ

Вдохновенье, розовое небо,
черный дом с одним окном
огненным. О, это небо,
выпитое огненным окном!
Загородный сор пустынный,
сорная былинка со слезой,
череп счастья, тонкий, длинный,
вроде черепа борзой.
Что со мной? Себя теряю,
растворяюсь в воздухе, в заре;
бормочу и обмираю
на вечернем пустыре.
Никогда так плакать не хотелось.
Вот оно, на самом дне.
Донести тебя, чуть запотелое
и такое трепетное, в целости
никогда так не хотелось мне..
Выходи, мое прелестное,
зацепись за стебелек,
за окно, еще небесное,
иль за первый огонек.
Мир быть может пуст и беспощаден,
я не знаю ничего,
но родиться стоит ради
этого дыханья твоего.

Когда-то было легче, проще:
две рифмы — и раскрыл тетрадь.
Как смутно в юности заносчивой

мне довелось тебя узнать.
Облокотившись на перила
стиха, плывущего, как мост,
уже душа вообразила,
что двинулась и заскользила,
и доплывет до самых звезд.
Но переписанные начисто,
лишась мгновенно волшебства,
бессильно друг за друга прячутся
отяжелевшие слова.

Молодое мое одиночество
среди ночных, неподвижных ветвей;
над рекой изумление ночи,
отраженное полностью в ней;
и сиреневый цвет, бледный баловень
этих первых неопытных стоп,
освещенный луной небывалой
в полутрауре парковых троп;
и теперь увеличенный памятью,
и прочнее, и краше вдвойне,
старый дом, и бессмертное пламя
керосиновой лампы в окне;
и во сне приближение счастья,
дальний ветер, воздушный гонец,
все шумней проникающий в чашу,
наклоняющий ветвь наконец;
все, что время как будто и отняло,
а глядишь — засквозило опять,
оттого что закрыто неплотно,
и уже невозможно отнять.

Мигая, огненное око
глядит сквозь черные персты
фабричных труб на сорные цветы

и на жестянку кривобокую.
По пустырю в темнеющей пыли
поджарый пес мелькает шерстью снежной.
Должно быть, потерялся. Но вдали
уж слышен свист настойчивый и нежный.
И человек навстречу мне сквозь сумерки
идет, зовет. Я узнаю
походку бодрую твою.
Не изменился ты с тех пор, как умер.

Берлин, 1932 г.

Сам треугольный, двукрылый, безногий,
но с округленным, прелестным лицом,
ижицей быстрой, в безумной тревоге
комнату всю облетая кругом,

страшный малютка, небесный калека,
гость, по ошибке влетевший ко мне,
дико метался, боясь человека,
а человек прижимался к стене,

все еще в свадебном галстуке белом,
выставив руку, лицо отклоня,
с ужасом тем же, но оцепенелым:
только бы он не коснулся меня,

только бы выпетел, только нашел бы
это окно и опять, в неземной
лаборатории, в синюю колбу
сел бы, сложась, ангелочек ночной.

1932 г.

БЕЗУМЕЦ

В миру фотограф уличный, теперь же
царь и поэт, парнасский самодержец
(который год сидящий взаперти),
он говорил:

„Ко славе низойти
я не желал. Она сама примчалась.
Уж я забыл, где муза обучалась,
но путь ее был прям и одинок.
Я не умел друзей готовить впрок,
из лапы льва не извлекал занозы.
Вдруг снег пошел; гляжу, а это розы.

Блаженный жребий. Как мне дорога
унылая улыбочка врага.
Люблю я неудачника тревожить,
сны обо мне мучительные множить
и теневой рассматривать скелет
завистника прозрачного на свет.

Когда луну я балую балладой,
волнуются деревья за оградой,
вне очереди торопясь попасть
в мои стихи. Доверена мне власть
над всей землей, Соседу непослушной.
И счастье так ширится воздушно,
так полнится сияньем голова,
такие совершенные слова
встречают мысль и улетают с нею,
что ничего записывать не смею.

Но иногда — другим бы стать, другим!
О, поскорее! Плотником, портным,
а то еще — фотографом бродячим:
как в старой сказке жить, ходить по дачам,
снимать детей пятнистых в гамаке,
собаку их и тени на песке.”

1933 г.

КАК Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

Такой зеленый, серый, то есть
весь заштрихованный дождем,
и липовое, столь густое,
что я перенести — уйдем.
Уйдем и этот сад оставим,
и дождь, кипящий на тропах
между тяжелыми цветами,
целующими липкий прах.
Уйдем, уйдем, пока не поздно,
скорее, под плащом, домой,
пока еще ты не опознан,
безумный мой, безумный мой!

Держусь, молчу. Но с годом каждым,
под гомон птиц и шум ветвей,
разлука та обидней кажется,
обида кажется глупей.
И все страшней, что опрометчиво
проговорюсь и перебею
теченье тихой, трудной речи,
давно проникшей в жизнь мою.

Над краснощеками рабами
лазурь, как лаковая вся,
с накачанными облаками,
едва заметными толчками
передвигающимися.
Ужель нельзя там притулиться,
и нет там темного угла,

где темнота могла бы слиться
с иероглифами крыла?
Так бабочка не шевелится
пластом на плесени ствола.

Какой закат! И завтра снова,
и долго-долго быть жаре,
что безошибочно основано
на тишине и мошкаре.
В луче вечернем повисая,
она толчется без конца,
как бы игрушка золотая
в руках немного продавца.

Как я люблю тебя. Есть в этом
вечернем воздухе порой
лазейки для души, просветы
в тончайшей ткани мировой.
Лучи проходят меж стволами.
Как я люблю тебя! Лучи
проходят меж стволами, пламенем
ложатся на стволы. Молчи.
Замри под веткою расцветшей,
вдохни, какое разлилось —
зажмурься, уменьшись и в вечное
пройди украдкой насквозь.

Берлин, 1934 г.

L'INCONNUE DE LA SEINE

Торопя этой жизни развязку,
не любя на земле ничего,
все гляжу я на белую маску
неживого лица твоего.

В без конца замирающих струнах
слышу голос твоей красоты.
В бледных толпах утопленниц юных
всех бледней и пленительней ты.

Ты со мною хоть в звуках помешкай,
жребий твой был на счастье скуп,
так ответь же посмертной усмешкой
очарованных гипсовых губ.

Неподвижны и выпуклы веки,
густо слиплись ресницы. Ответь,
неужели навеки, навеки...
А ведь как ты умела глядеть!

Плечи худенькие, молодые,
черный крест шерстяного платка,
фонари, ветер, тучи ночные,
в темных яблоках злая река.

Кто он был, умоляю, поведай,
соблазнитель таинственный твой —
кудреватый племянник соседа —
пестрый галстучек, зуб золотой?

Или звездных небес завсегда,
друг бутылки, костей и кия,
вот такой же гуляка проклятый,
прогоревший мечтатель, как я?

И теперь, сотрясаясь всем телом,
он, как я, на кровати сидит
в черном мире, давно опустелом,
и на белую маску глядит.

Берлин, 1934 г.

НА ЗАКАТЕ

На закате, у той же скамьи,
как во дни молодые мои,

на закате, ты знаешь каком,
с яркой тучей и майским жуком,

у скамьи с полусгнившей доской
высоко над румяной рекой,

как тогда, в те далекие дни,
улыбнись и лицо отверни,

если душам умерших давно
иногда возвращаться дано.

Берлин, 1935 г.

Иосиф Красный, — не Иосиф
прекрасный: препре-
красный, — взгляд бросив,
сад вырастивший! Вепрь

горный! *Выше* гор! Лучше ста Лин-
дбергов, трехсот полюсов
светлей! Из под толстых усов
Солнце России: Сталин!

(Марина Цветаева, пародия)

1937 г.

МЫ С ТОБОЮ ТАК ВЕРИЛИ

Мы с тобою так верили в связь бытия,
но теперь оглянулся я, и удивительно,
до чего ты мне кажешься, юность моя,
по цветам не моей, по чертам недействительной.

Если вдуматься, это как дымка волны
между мной и тобой, между мелью и тонущим;
или вижу столбы и тебя со спины,
как ты прямо в закат на своем полуночном.

Ты давно уж не я, ты набросок, герой
всякой первой главы, а как долго нам верилось
в непрерывность пути от ложбины сырой
до нагорного вереска.

Париж, 1938 г.

ЧТО ЗА НОЧЬ С ПАМЯТЬЮ СЛУЧИЛОСЬ

Что за ночь с памятью случилось?
Снег выпал, что ли? Тишина.
Душа забвенью зря училась:
во сне задача решена.

Решенье чистое, простое,
(о чем я думал столько лет?) .
Пожалуй, и вставать не стоит:
ни тела, ни постели нет.

Ментона, 1938 г.

ПОЭТЫ

Из комнаты в сени свеча переходит
и гаснет. Плывет отпечаток в глазах,
пока очертаний своих не находит
беззвездная ночь в темно-синих ветвях.

Пора, мы уходим — еще молодые,
со списком еще не приснившихся снов,
с последним, чуть зримым сияньем России
на фосфорных рифмах последних стихов.

А мы ведь, поди, вдохновение знали,
нам жить бы, казалось, и книгам расти,
но музы безродные нас доконали,
и ныне пора нам из мира уйти.

И не потому, что боимся обидеть
своею свободою добрых людей.
Нам просто пора, да и лучше не видеть
всего, что сокрыто от прочих очей:

не видеть всей муки и прелести мира,
окна, в отдаленье поймавшего луч,
лунатиков смирных в солдатских мундирах,
высокого неба, внимательных туч;

красы, укорижны; детей малолетних,
играющих в прятки вокруг и внутри
уборной, кружащейся в сумерках летних;
красы, укорижны вечерней зари;

всего, что томит, обвивается, ранит;
рыдания рекламы на том берегу,
текучих ее изумрудов в тумане,
всего, что сказать я уже не могу.

Сейчас переходим с порога мирского
в ту область... как хочешь ее назови:
пустыня ли, смерть, отрешенье от слова,
иль, может быть, проще: молчанье любви.

Молчанье далекой дороги тележной,
где в пене цветов колея не видна,
молчанье отчизны — любви безнадежной —
молчанье зарницы, молчанье зерна.

Париж, 1939 г.

К РОССИИ

Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.

Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен быть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.

Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;

обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
все, что есть у меня, мой язык.

Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожащие пятна березвы,
сквозь все то, чем я смолоду жил,

дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!

Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд,
поздно, поздно, никто не ответит,
и душа никому не простит.

Париж, 1939 г.

ОКО

К одному исполинскому оку
без лица, без чела и без век,
без телесного марева сбоку
наконец-то сведен человек.

И на землю без ужаса глянув
(совершенно не схожую с той,
что, вся пегая от океанов,
улыбалась одною щекой),

он не горы там видит, не волны,
не какой-нибудь яркий залив,
и не кинематограф безмолвный
облаков, виноградников, нив;

и конечно не угол столовой
и свинцовые лица родных —
ничего он не видит такого
в тишине обращений своих.

Дело в том, что исчезла граница
между вечностью и веществом,
и на что неземная зеница,
если вензеля нет ни на чем?

Париж, 1939 г.

СЛАВА

И вот, как на колесиках, вкатывается ко мне некто
восковой, поджарый, с копотью в красных ноздрах,
и сижу, и решить не могу: человек это,
или просто так — разговорчивый прах.
Как проситель из наглых, гроза общежитий,
как зловещий друг детства, как старший шпион
(шепелявым таким шепотком: а скажите,
что вы делали там-то?), как сон,
как палач, как шпион, как друг детства зловещий,
как в балканской новелле влиянье, как их,
символистов — но хуже. Есть вещи, вещи,
которые... даже... (Акакий Акакиевич
любил, если помните, „плевели речи”,
и он, как Наречье, мой гость восковой),
и сердце просится, и сердце мечется,
и я не могу. А его разговор
так и катится острою осыпью под гору,
и картавое, кроткое слушать должно
и заслушиваться господина бодрого,
оттого что без слов и без славы оно.
Как пародия совести в драме бездарной,
как палач и озноб, и последний рассвет
— о, волна, поднимись, тишина благодарна
и за эту трехсложную музыку. Нет,
не могу языку заказать эти звуки,
ибо гость говорит, и так веско,
господа, и так весело, и на гадюке
то панама, то шлем, то фуражка, то феска:
иллюстрации разных существенных доводов,

головные уборы, как мысли вовне;
или, может быть — было бы здорово,
если б этим шутник указывал мне,
что я страны менял, как фальшивые деньги,
торопясь и боясь оглянуться назад,
как раздваивающееся привиденье,
как свеча меж зеркал, уплывая в закат.
Далеко до лугов, где ребенком я плакал,
упустив аполлона, и дальше еще
до еловой аллеи с полосками мрака,
меж которыми полдень сквозил горячо.
Но воздушным мостом мое слово изогнуто
через мир, и чредой спицевидных теней
без конца по нему прохожу я инкогнито
в полыхающий сумрак отчизны моей.
Я божком себя вижу, волшебником с птичьей
головой, в изумрудных перчатках, в чулках
из лазурных чешуй. Прохожу. Перечтите
и остановитесь на этих строках.
Обращение к несуществующим: кстати,
он не мост, этот шорох, а цепь облаков,
и лишенные самой простой благодати
(доходженья до глаз, до локтей, до висков),
„твои бедные книги,” сказал он развязно,
„безнадёжно растают в изгнание. Увы,
эти триста листов беллетристики праздной
разлетятся — но у настоящей листвы
есть куда упадать, есть земля, есть Россия,
есть тропа вся в лиловой кленовой крови,
есть порог, где слоются тузы золотые,
есть канавы — а бедные книги твои
без земли, без тропы, без канав, без порога,
опадут в пустоте, где ты вырастил ветвь,
как базарный факир, то есть не без подлога,
и недолго ей в дымчатом воздухе цвести.

Кто в осеннюю ночь, кто, скажи-ка на милость,
в захолуствии русском, при лампе, в пальто,
среди гильз папиросных, каких-то опилок,
и других озаренных неясностей, кто
на столе развернет образец твоей прозы,
зачитается ею под шум дождевой,
набегающий шум заоконной березы,
поднимающей книгу на уровень свой?
Нет, никто никогда на просторе великом
ни одной не помянет страницы твоей:
ныне дикий пребудет в неведение диком,
друг степей для тебя не забудет степей.
В длинном стихотворении „Слава” писателя,
так сказать, занимает проблема, гнетет
мысль о контакте с сознанием читателя.
К сожаленью, и это навек пропадет.
Повторяй же за мной, дабы в сладостной язве
до конца, до небес доскрестись: никогда,
никогда не мелькнет мое имя — иль разве
(как в трагических тучах мелькает звезда)
в специальном труде, в примечанье к названью
эмигрантского кладбища, и наравне
с именами собратьев по правописанью,
обстоятельством места навязанных мне.
Повторил? А случалось еще, ты пописывал
не без блеска на вовсе чужом языке,
и припомни особенный привкус анисовый
тех потуг, те метанья в словесной тоске.
И виденье: на родине. Мастер. Надменность.
Непреклонность. Но тронуть не смеют. Порой
перевод иль отрывок. Поклонники. Ценность
европейская. Дача в Алуште. Герой.”

И тогда я смеюсь, и внезапно с пера
мой любимый слетает анапест,

образуя ракеты в ночи, так быстра
 золотая становится запись.
И я счастлив. Я счастлив, что совесть моя,
 сонных мыслей и умыслов сводня,
не затронула самого тайного. Я
 удивительно счастлив сегодня.
Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
 а точнее сказать я не вправе.
Оттого так смешна мне пустая мечта
 о читателе, теле и славе.
Я без тела разросся, без отзвука жив,
 и со мной моя тайна всечасно.
Что мне тление книг, если даже разрыв
 между мной и отчизною — частность.
Признаюсь, хорошо зашифрована ночь,
 но под звезды я буквы подставил
и в себе прочитал, чем себя превозмочь,
 а точнее сказать я не вправе.
Не доверяюсь соблазнам дороги большой
 или снам, освященным веками,
остаюсь я безбожником с вольной душой
 в этом мире, кишашем богами.
Но однажды, пласты разуменья дробя,
 углубляясь в свое ключевое,
я увидел, как в зеркале, мир и себя,
 и другое, другое, другое.

Уэльслей, Масс., 1942 г.

Вот это мы зовем луной.
Я на луне, и нет возврата.
Обнажена и ноздревата...
А, здравствуйте — и вы со мной.

Мы на луне. Луна, Селена.
Вы слышите? Эл, у, эн, а...
Я говорю: обнажена,
как после праздника арена.

Иль поле битвы: пронеслись
тут бегемоты боевые,
и бомбы бешено впились,
воронки вырыв теневые.

И если, мучась и мыча,
мы матовые маски снимем,
потухнет в этом прахе синем
и ваша, и моя свеча.

Наш лунный день не будет долог
среди камней и гор нагих.
Давайте ж, если вы геолог,
займемся изученьем их.

В ложбине мрак остроугольный
ползет по белизне рябой.
У нас есть шахматы с собой,
Шекспир и Пушкин. С нас довольно.

1942 г.

ПАРИЖСКАЯ ПОЭМА

„Отведите, но только не бросьте.
Это — люди; им жалко Москвы.
Позаботьтесь об этом прохвосте:
он когда-то был ангел, как вы.
И подайте крыло Никанору,
Аврааму, Владимиру, Льву —
смерду, князю, предателю, вору:
ils furent des anges comme vous.
Всю ораву, ужасные выи
стариков у чужого огня,
господа, господа голубые,
пожалейте вы ради меня!

От кочующих, праздно плутающих
уползаю, и вот привстаю,
и уже я лечу, и на тающих
рифмы нет в моем новом раю.
Потому-то я вправе по чину
к вам, брящая, в палаты войти.
Хорошо. Понимаю причину —
но их надо, их надо спасти.
Хоть бы вы призадумались, хоть бы
согласились взглянуть. А пока
остаюсь с привидением (подпись
неразборчива: ночь, облака).”

Так он думал без воли, без веса,
сам в себя, как наследник, летя.
Ночь дышала: вздувалась завеса,

облакам облаками платя.
Стул. На стуле он сам. На постели
снова — он. В бездне зеркала — он.
Он — в углу, он — в полу, он — у цели,
он в себе, он в себе, он спасен.

А теперь мы начнем. Жил в Париже,
в пятом доме по рю Пьер Лоти,
некто Вульф, худощавый и рыжий
инженер лет пятидесяти.
А под ним — мой герой: тот писатель,
о котором писал я не раз,
мой приятель, мой работодатель.

Посмотрев на часы, и сквозь час
дно и камушки мельком увидя,
он оделся и вышел. У нас
это дно называлось: Овидий
откормлен (от Carmina). Муть
и комки в голове после черной
стихотворной работы. Чуть-чуть
моросит, и над улицей черной
без звездинки муругая муть.
Но поэмы не будет: нам некуда
с ним идти. По ночам он гулял.
Не любил он ходить к человеку,
а хорошего зверя не знал.

С этим камнем ночным породниться,
пить извозчище это вино...
Трясогузками ходят блудницы,
и на русском Парнасе темно.
Вымирают косматые мамонты,
чуть жива красноглазая мышь.
Бродят отзвуки лиры безграмотной:
с кандачка переход на Буль-Миш.

С полурусского, полузабытого
переход на подобье арго.
Бродит боль позвоночника перебитого
в черных дебрях Бульвар Араго.
Ведь последняя капля России
уже высохла. Будет, пойдем.
Но еще подписаться мы силимся
кривоклювым почтамтским пером.

Чуден ночью Париж сухопарый.
Чу! Под сводами черных аркад,
где стена, как скала, писсуары
за щитами своими журчат.
Есть судьба и альпийское нечто
в этом плеске пустынном. Вот-вот
захлебнется меж четом и нечетом,
между мной и не мной, счетовод.
А мосты — это счастье навеки,
счастье черной воды. Посмотри:
как стекло несравненной аптеки
и оранжевые фонари.
А вверху — там неважные вещи.
Без конца. Без конца. Только муть.
Мертвый в омуте месяц мерещится.
Неужели я тоже? Забудь.
Смерть еще далека (послезавтра я
все продумаю), но иногда
сердцу хочется „автора, автора”.
В зале автора нет, господа.
И покуда глядел он на месяц,
синеватый, как кровоподтек,
раздался где-то в дальнем предместье
паровозный щемящий свисток.
Лист бумаги, громадный и чистый,
стал вытаскивать он из себя:

лист был больше него и неистовствовал,
завиваясь в трубу и скрипя.
И борьба показалась запутанной,
безысходной: я, черная мгла,
я, огни и вот эта минута —
и вот эта минута прошла.
Но как знать, может быть бесконечно
драгоценна она, и потом
пожалею, что бесчеловечно
обошелся я с этим листом.
Что-нибудь мне, быть может, напели
эти камни и дальний свисток.
И пошарив по темной панели,
он нашел свой измятый листок.

В этой жизни, богатой узорами
(неповторной, поскольку она
по-другому, с другими актерами,
будет в новом театре дана),
я почел бы за лучшее счастье
так сложить ее дивный ковер,
чтоб пришелся узор настоящего
на былое, на прежний узор;
чтоб опять очутиться мне — о, не
в общем месте хотений таких,
не на карте России, не в лоне
ностальгических неразберих, —
но с далеким найдя соответствие,
очутиться в начале пути,
наклониться — и в собственном детстве
кончик спутанной нити найти.
И распутать себя осторожно,
как подарок, как чудо, и стать
серединою многодорожного
громогласного мира опять.

И по яркому гомону птичьему,
по ликующим липам в окне,
по их зелени преувеличенной
и по солнцу на мне и во мне,
и по белым гигантам в лазури,
что стремятся ко мне напрямик,
по сверканью, по мощи, прищуриться
и узнать свой сегодняшний миг.

Кембридж, Масс., 1943 г.

КАКИМ БЫ ПОЛОТНОМ

Каким бы полотном батальным ни являлась
советская сусальнейшая Русь,
какой бы жалостью душа ни наполнялась,
не поклонюсь, не примирюсь

со всю мерзостью, жестокостью и скукой
немного рабства — нет, о, нет,
еще я духом жив, еще не сыт разлукой,
увольте, я еще поэт.

Кембридж, Масс. , 1944 г.

О ПРАВИТЕЛЯХ

Вы будете (как иногда
говорится)
смеяться, вы будете (как ясновидцы
говорят) хохотать, господа —
но, честное слово,
у меня есть приятель,
которого
привела бы в волнение мысль поздороваться
с главою правительства или другого какого
предприятия.
С каких это пор, желал бы я знать,
под ложечкой
мы стали испытывать вроде
нежного бульканья, глядя в бинокль
на плотного с ежиком в ложе?
С каких это пор
понятие власти стало равно
ключевому понятию родины?
Какие-то римляне и мясники,
Карл Красивый и Карл Безобразный,
совершенно гнилые князьки,
толстогрудые немки и разные
людоеды, любовники, ломовики,
Иоанны, Людовики, Ленины,
все это сидело, кряхтя на эх и на ых,
упираясь локтями в колени
на престолах своих матерых.
Умирает со скуки историк:
за Мамаем все тот же Мамай.

В самом деле, нельзя же нам с горя
поступить, как чиновный Китай,
кучу лишних веков присчитавший
к истории скромной своей,
от этого, впрочем, не ставшей
ни лучше, ни веселей.

Кучера государств зато хороши
при исполнении должности: шибко
ледяная навстречу летит синева,
огневые трещат на ветру рукава...

Наблюдатель глядит иностранный
и спереди видит прекрасные очи навывкат,
а сзади прекрасную помесь диванной
подушки с чудовищной тыквой.

Но детина в регалиях или
волк в макинтоше,
в фуражке с немецким крутым козырьком,
охрипший и весь перекошенный,
в остановившемся автомобиле —
или опять же банкет
с кавказским вином —
нет.

Покойный мой тезка,
писавший стихи и в полоску,
и в клетку, на самом восходе
всесоюзно-мещанского класса,
кабы дожил до полдня,
нынче бы рифмы натягивал
на „монументален”,
на „переперчил”
и так далее.

Кембридж, Масс., 1944 г.

К КН. С. М. КАЧУРИНУ

1

Качурин, твой совет я принял
и вот уж третий день живу
в музейной обстановке, в синей
гостиной с видом на Неву.

Священником американским
твой бедный друг переодет,
и всем долинам дагестанским
я шлю завистливый привет.

От холода, от перебоев
в подложном паспорте, не сплю:
исследователям обоев
лилеи и лианы шлю.

Но спит, на канapé устроясь,
коленки приложив к стене
и завернувшись в плед по пояс,
толмач, приставленный ко мне.

Когда я в это воскресенье,
по истечении почти
тридцатилетнего затмения,
мог встать и до окна дойти;

когда увидел я в тумане
весны и молодого дня,
и заглушенных очертаний
то, что хранилось у меня

так долго, вроде слишком яркой
цветной открытки без угла
(отрезанного ради марки,
которая в углу была) ;

когда все это появилось
так близко от моей души,
она, вздохнув, остановилась,
как поезд в полевой тиши.

И за город мне захотелось:
в истоме юности опять
мечтательно заныло тело,
и начал я соображать,

как буду я сидеть в вагоне,
как я его уговорю,
но тут зачмокал он спросонья
и потянулся к словарю.

На этом я не успокоюсь,
тут объяснение жизни всей,
остановившейся, как поезд
в шершавой тишине полей.

Воображаю щебетанье
в шестидесяти девяти
верстах от города, от зданья,
где запинаясь взаперти,

и станцию, и дождь наклонный,
на темном видный, и потом
захлест сирени станционной,
уж огрубевшей под дождем,

и дальше: фартук тарантасный
в дрожащих ручейках, и все
подробности берез, и красный
амбар налево от шоссе.

Да, все подробности, Качурин,
все бедненькие, каковы
край сизой тучи, ромб лазури
и крап ствола сквозь рябь листвы.

Но как я сяду в поезд дачный
в таком пальто, в таких очках
(и, в сущности, совсем прозрачный,
с романом Сирина в руках)?

Мне страшно. Ни столбом ростральным,
ни ступенями при луне,
ведущими к огням спиральным,
ко ртутной и тугой волне,

не заслоняется... при встрече
я, впрочем, все скажу тебе
о новом, о широкоплечем
провинциале и рабе.

Мне хочется домой. Довольно.
Качурин, можно мне домой?
В пампасы молодости вольной,
в техасы, найденные мной.

Я спрашиваю, не пора ли
вернуться к теме тетивы,
к чарующему чапаралю
из „Всадника без головы”,

чтоб в Матагордовом Ущелье
заснуть на огненных камнях
с лицом, сухим от акварели,
с пером вороньим в волосах?

Кембридж, Масс., 1947 г.

NEURALGIA INTERCOSTALIS

О, нет, то не ребра
— эта боль, этот ад —
это русские струны
в старой лире болят.

(Во время болезни)
Март-апрель 1950 г.

БЫЛ ДЕНЬ КАК ДЕНЬ

Был день как день. Дремала память. Длилась
холодная и скучная весна.
Внезапно тень на дне зашевелилась —
и поднялась с рыданием со дна.

О чем рыдать? Утешить не умею.
Но как затопала, как затряслась,
как горячо цепляется за шею,
в ужасном мраке на руки просясь.

Итака, 1951 г.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЯМБЫ

В последний раз лиясь листьями
между воздушными перстами
и проходя перед грозой
от зелени уже настойчивой

до серебристости простой,
олива бедная, листва
искусства, плещет, и слова
лелеять бы уже не стоило,

если б не зоркие глаза
и одобрение бродяги,
если б не лилия в овраге,
если б не близкая гроза.

Итака, 1953 г.

1

Как над стихами силы средней
эпиграф из Шенье,
как луч последний, как последний
зефир... comme un dernier...

Так ныне над простором голым
моих минувших лет
каким-то райским ореолом
горит нерусский свет!

1956 г.

Целиком в мастерскую высокую
входит солнечный вечер ко мне:
он как нотные знаки, он фокусник,
он сирень на моем полотне.

Ничего из работы не вышло,
только пальцы в пастельной пыли.
Смотрят с неба художники бывшие
на румяную щеку земли.

Я ж смотрю, как в стеклянной обители
зажигается сто этажей,
и как американские жители
там стойком поднимаются в ней.

Все, от чего оно сжимается,
миры в тумане, сны, тоска
и то, что мною принимается
как должное — твоя рука;

все это под одною крышею
в плену моем живет, поет,
но сводится к четверостишию,
как только ямб ко дну идет.

И оттого, что — как мне помнится —
жильцы: родного словаря
такие бедняки и скромницы:
холм, папоротник, ель, заря,

читателя мне не разжалобить,
а с музыкой я незнаком,
и удовлетворяюсь, стало быть,
ничьей меж смыслом и смычком.

„Но вместо всех изобразительных
приемов и причуд, нельзя ль
одной опушкой существительных
и воздух передать, и даль?”

Я бы добавил это новое,
но наподобие кольца
сомкнуло строй уже готовое
и не впустило пришлеца.

Вечер дымчат и долог:
я с мольбою стою,
молодой энтомолог,
перед жимолостью.

О, как хочется, чтобы
там, в цветах, вдруг возник,
запуская в них хобот,
райский сумеречник.

Содроганье — и вот он.
Я по ангелу бью,
и уж демон замотан
в сетку дымчатую.

5

Какое б счастье или горе
ни пело в прежние года,
метафор, даже аллегорий
я не чуждался никогда.

И ныне замечаю с грустью,
что солнце меркнет в камышах,
и рябь чешуйчатее к устью,
и шум морской уже в ушах.

Итака, 50-е гг.

6. СОН

Есть сон. Он повторяется, как томный
стук замурованного. В этом сне
киркой работаю в дыре огромной
и нахожу обломок в глубине.

И фонарем на нем я освещаю
след надписи и наготу червя.
„Читай, читай!” — кричит мне кровь моя:
Р, О, С, — нет, я букв не различаю.

7.

Зимы ли серые смыли
очерк единственный? Эхо ли
все, что осталось от голоса? Мы ли
поздно приехали?

Только никто не встречает нас. В доме
рояль — как могила на полюсе. Вот тебе
ласточки. Верь тут, что кроме
пепла есть оттепель.

КАКОЕ СДЕЛАЛ Я ДУРНОЕ ДЕЛО

*Какое сделал я дурное дело,
и я ли развратитель и злодей,
я, заставляющий мечтать мир целый
о бедной девочке моей.*

О, знаю я, меня боятся люди,
и жгут таких, как я, за волшебство,
и, как от яда в полном изумруде,
мрут от искусства моего.

Но как забавно, что в конце абзаца,
корректору и веку вопреки,
тень русской ветки будет колебаться
на мраморе моей руки.

Сан-Ремо, 1959 г.

Средь этих лиственниц и сосен,
под горностаем этих гор
мне был бы менее несносен
существования позор:

однообразнее, быть может,
но без сомнения честней,
здесь бедный век мой был бы прожит
вдали от вечности моей.

Санкт-Мориц, 10. 7. 65.

Сорок три или четыре года
ты уже не вспоминалась мне:
вдруг, без повода, без перехода,
посетила ты меня во сне.

Мне, которому претит сегодня
каждая подробность жизни той,
самовольно вкрадчивая сводня
встречу приготовила с тобой.

Но хотя, опять возясь с гитарой,
ты опять „молодушкой была”,
не терзать взялась ты мукой старой,
а лишь рассказать, что умерла.

9. 4. 67.

С СЕРОГО СЕВЕРА

С серого севера
вот пришли эти снимки.

Жизнь успела не все
погасить недоимки.
Знакомое дерево
вырастает из дымки.

Вот на Лугу шоссе.
Дом с колоннами. Оредежь.
Отовсюду почти
мне к себе до них пор еще
удалось бы пройти.

Так, бывало, купальщикам
на приморском песке
приносится мальчиком
кое-что в кулачке.

Все, от камушка этого
с каймой фиолетовой
до стеклышка матово-
зеленоватого,
он приносит торжественно.

Вот это Батово.
Вот это Рождествено.

Монтре, 1967 г.

ПАСТЕРНАК

Его обороты, эпитеты, дикция,
стереоскопичность его —
все в нем выдает со стихом Бенедиктова
свое роковое родство.

22. 8. 70.

Как любил я стихи Гумилева!
Перечитывать их не могу,
но следы, например, вот такого
перебора остались в мозгу:

„...И умру я не в летней беседке
от обжорства и от жары,
а с небесной бабочкой в сетке
на вершине дикой горы.”

Курелия (Лугано), 22. 7. 72.

В ничтожнейшем гиппопотаме
как много есть нежности тайной!
Как трудно расстаться с цветами,
увядшими в вазе случайной!

Монре, 29. 5. 73.

To Vega

Ах, угонят их в степь, Арлекинов моих,
в буераки, к чужим атаманам!
Геометрию их, Венецию их
назовут шутовством и обманом.

Только ты, только ты все дивилась вослед
черным, синим, оранжевым ромбам...
„N писатель недюжинный, сноб и атлет,
наделенный огромным апломбом...”

Монтре 1. 10. 74.

СТИХИ ИЗ РАССКАЗОВ И РОМАНОВ

* * *

Когда, слезами обливаясь,
ее лобзая вновь и вновь,
шептал я, с милой расставаясь,
прощай, прощай, моя любовь,
прощай, прощай, моя отрада,
моя тоска, моя мечта,
мы по тропам заглохшим сада
уж не пройдемся никогда...

(Подражание романсу. Из рассказа „Адмиралтейская игла” в сборнике „Весна в Фиальте и другие рассказы”)

Берлин, 1933 г.

* * *

Распростишься с пустой тревогой,
палку толстую возьми
и шагай большой дорогой
вместе с добрыми людьми.

По холмам страны родимой
вместе с добрыми людьми,
без тревоги нелюдимой,
без сомнений, черт возьми.

Километр за километром,
ми-ре-до и до-ре-ми,

вместе с солнцем, вместе с ветром,
вместе с добрыми людьми.

(Из рассказа „Облако, озеро, башня”)
Берлин, 1937 г.

* * *

Хорошо-с, — а помните, граждане,
как хирел наш край без отца?
Так без хмеля сильнейшая жажда
не создаст ни пивца, ни певца.

Вообразите, ни реп нет,
ни баклажанов, ни брюкв...
Так и песня, что днесь у нас крепнет,
задыхалась в луковках букв.

Шли мы тропинкой исторенной,
горькие ели грибы,
пока ворота истории
не дрогнули от колотьбы,

пока, белизною кительной
сияя верным сынам,
с улыбкой своей удивительной
Правитель не вышел к нам!

(Из рассказа „Истребление тиранов”)
Париж, 1938 г.

* * *

1. Мяч закатился мой под нянин
комод, и на полу свеча
тень за концы берет и тянет
туда, сюда — но нет мяча.

Потом там кочерга кривая
гуляет и грохочет зря,
и пуговицу выбивает,
а погода — полсухаря.
Но вот выскакивает сам он
в трепещущую темноту,
через всю комнату, и прямо
под неприступную тахту.

2.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

и по углам наглеют ночью,
своим законным образцам
лишь подражая между прочим.

3.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

при музыке миниатюрной
с произношением смешным.

4.
.....
.....
.....
.....

И снова заряжаешь ствол
до дна, со скрежетом пружинным
в упругий вдавливая пол,
и видишь, притаясь за дверью,
как в зеркале стоит другой —
и дыбом радужные перья
из-за повязки головной.

5.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

под лестницею винтовой
и за буфетом одиноким,
забытым в комнате пустой.

6. По четвергам старик приходит
учтивый, от часовщика,
и в доме все часы заводит
неторопливая рука.
Он на свои ukradkoy взглянет
и переставит у стѣнных.
На стуле стоя, ждать он станет,
чтоб вышел полностью из них
весь полдень. И благополучно

окончив свой приятный труд,
на место ставит стул беззвучно,
и, чуть ворча, часы идут.

7.
.....
.....
.....

Пожалуйста встать. Гуляет
по зеркалам печным ладонь
истопника: определяет,
дорос ли доверху огонь.
Дорос. И жаркому гуденью
день отвечает тишиной,
лазурью с розовой тенью
и совершенной белизной.

8. Как буду в этой же карете
чрез полчаса опять сидеть?
Как буду на снежинки эти
и ветви черные глядеть?
Как тумбу эту в шапке ватной
глазами провожу опять?
Как буду на пути обратном
мой путь туда припоминать?
(Нашуывая поминутно
с брезгливой нежностью платок,
в который бережно закутан
как будто костяной брелок.)

9.
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

так впечатление былое
во льду гармонии живет...

10. Влезть на помост, облитый блеском,
упасть с размаху животом
на санки плоские — и с треском
по голубому... А потом,
когда меняется картина,
и в детской сумрачно горит
рождественская скарлатина
или пасхальный дифтерит,
съезжать по блещущему ломко,
преувеличенному льду,
в полутропическом каком-то,
полутаврическом саду...

11.
.....
.....
.....

Бювар с бумагою почтовой
всего мне видится ясней;
она украшена подковой
и монограммою моей.
Уж знал я толк в инициалах,
печатках, сплюснутых цветках
от девочки из Ниццы, алых
и бронзоватых сургучах.

12. В канавы скрылся снег со склонов,
и петербургская весна
волнения и анемонов,
и первых бабочек полна.
Но мне не надо прошлых годовних,
увядших за зиму ванесс,
лимонниц, никуда не годных,
летающих сквозь прозрачный лес.
Зато уж высмотрю четыре
прелестных газовых крыла
нежнейшей пяденицы в мире
среди пятен белого ствола.
13.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- Ни шапки надевать не надо,
ни легких башмаков менять,
чтоб на песок кирпичный сада
весною выбежать опять.
14. О, первого велосипеда
великолепье, вышины;
на раме „Дукс” или „Победа”;
надутой шины тишина.
Дрожанье и вилы в аллее,
где блики по рукам скользят,
где насыпи кротов чернеют
и низвержением грозят.
А завтра пролетаешь через,

и, как во сне, поддержки нет,
и этой простоте доверяясь,
не падает велосипед.

15.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

синеет, синего синей,
почти не уступая в сини
вспоминанию о ней,

16.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... от валуна

посередине от опушки
еще как днем освещена.

17. Фарфоровые соты синий,
зеленый, красный мед хранят.
Сперва из карандашных линий
слагается шершаво сад.
Березы, флигельный балкончик —

все в пятнах солнца. Обмакну
и заверну погуще кончик
в оранжевую желтизну.
Меж тем в наполненном бокале,
в лучах граненого стекла —
какие краски засверкали,
какая радость зацвела!

18. Одни картины да киоты
в тот год остались на местах,
когда мы выросли, и что-то
случилось с домом: второпях
все комнаты между собою
менялись мебелью своей,
шкапами, ширмами, толпою
неповоротливых вещей.
И вот тогда-то, под тахтою,
на обнажившемся полу,
живой, невероятно милый,
он обнаружился в углу.

(Из романа „Дар”)

* * *

Благодарю тебя, отчизна,
за злую даль благодарю!
Тобою полн, тобой не признан,
я сам с собою говорю.
И в разговоре каждой ночи
сама душа не разберет,
мое ль безумие бормочет,
твоя ли музыка растет...

(Из романа „Дар”)

* * *

Во тьме в незамерзающую воду,
сквозь тихо падающий снег,
в обычную летеискую погоду
вот этим я ступлю на брег.
И к пристающему парому
сук тянется, и медленным багром
паромщик тянется к суку сырому
и медленно вращается паром.

(Из романа „Дар”)

* * *

Здесь все так плоско, так непрочно,
так плохо сделана луна,
хотя из Гамбурга нарочно
она сюда привезена...

(Из романа „Дар”)

ЛАСТОЧКА

Однажды мы под вечер оба
стояли на старом мосту.
Скажи мне, спросил я, до гроба
запомнишь вон ласточку ту?
И ты отвечала: еще бы!
И как мы заплакали оба,
как вскрикнула жизнь налету...
До завтра, навеки, до гроба —
однажды, на старом мосту...

(Из романа „Дар”)

* * *

*О нет, мне жизнь не надоела,
Я жить хочу, я жить люблю,
Душа не вовсе охладела,
Утрата молодость свою.*

Еще судьба меня согреет,
Романом гения упыюсь,
Мицкевич пусть еще созреет,
Кой-чем я сам еще займусь.

(Из романа „Дар”)

* * *

„...монументальное исследование Андрея Белого о ритмах загниотизировало меня своей системой наглядного отчисления и подсчитывания полуударений... и с той поры, в продолжение почти года — скверного, грешного года — я старался писать так, чтобы получилась как можно более сложная и богатая схема:

Задумчиво и безнадежно
распространяет аромат
и неосуществимо нежно
уж полуувядает сад, —”

(Из романа „Дар”)

* * *

В полдень послышался клюнувший ключ и характерно трахнул замок: это с рынка домой Марианна пришла Николавна; шаг ее тяжкий под тошный шумок макинтоша отнес мимо двери на кухню пудовую сетку с п р о д у к т а м и.

Муза Российския прозы, простись навсегда с капустным гексаметром автора „Москвы”.

(Из романа „Дар”)

Люби лишь то, что редкостно и мнимо,
 что крадется окраинами сна,
 что злит глупцов, что смердами казнимо;
 как родине, будь вымыслу верна.
 Наш час настал. Собаки и калеки
 одни не спят. Ночь летняя легка.
 Автомобиль проехавший навеки
 последнего увез ростовщика.
 Близ фонаря, с оттенком маскарада,
 лист жилками зелеными сквозит.
 У тех ворот — кривая тень Багдада,
 а та звезда над Пулковом висит.
 Как звать тебя? Ты полу-Мнемозина,
 полумерцанье в имени твоём,
 и странно мне по сумраку Берлина
 с полувиденьем странствовать вдвоем.
 Но вот скамья под липой освещенной...
 Ты оживаешь в судорогах слез:
 я вижу взор, сей жизнью изумленный,
 и бледное сияние волос.
 Есть у меня сравненье на примете
 для губ твоих, когда целуешь ты:
 нагорный снег, мерцающий в Тибете,
 горячий ключ и в иные цветы.
 Ночные наши бедные владенья,
 забор, фонарь, асфальтовую гладь
 поставим на туза воображенья,
 чтоб целый мир у ночи отыграть.
 Не облака, а горные отроги;
 костер в лесу, не лампа у окна.
 О, поклянись, что до конца дороги
 ты будешь только вымыслу верна...

Под липовым цветением мигает
 фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень

прохожего по тумбе пробегает,
как соболь пробегает через пень.
За пустырем, как персик, небо тает:
вода в огнях, Венеция сквозит, —
а улица кончается в Китае,
а та звезда над Волгою висит.
О, поклянись, что веришь в небылицу,
что будешь только вымыслу верна,
что не запрешь души своей в темницу,
не скажешь, руку протянув: стена.

(Из романа „Дар”)

* * *

Виноград созревал, изваянья в аллеях синели.
Небеса опирались на снежные плечи отчизны...

(Из романа „Дар”)

* * *

Из темноты, для глаз всегда неожиданно,
она, как тень, внезапно появлялась,
от родственной стихии отделясь.
Сначала освещались только ноги,
так ставимые тесно, что казалось:
она идет по тонкому канату.
Она была в коротком летнем платье
ночного цвета — цвета фонарей,
темней стволов, лоснящейся панели,
бледнее рук ее, темней лица.

(Из романа „Дар”)

* * *

.....ума большого
не надобно, чтобы заметить связь
между учением материализма
о прирожденной склонности к добру,
о равенстве способностей людских,
способностей, которые обычно
зовутся умственными, о влиянье
на человека обстоятельств внешних,
о всемогущем опыте, о власти
привычки, воспитания, о высоком
значении промышленности всей,
о праве нравственном на наслаждение —
и коммунизмом.

„Перевожу стихами, чтобы не было так скучно.
Карл Маркс: „Святое семейство”.

(Из романа „Дар”)

* * *

Что скажет о тебе далекий правнук твой,
то славя прошлое, то запросто ругая?
Что жизнь твоя была ужасна? Что другая
могла бы счастьем быть? Что ты не ждал другой?

Что подвиг твой не зря свершался — труд сухой
в поэзию добра попутно обращая
и белое чело кандальника венчая
одной воздушною и замкнутой чертой?

Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный,
все так же на ветру, в одежде оживленной,
к своим же Истина склоняется перстам,

с улыбкой женскою и детскою заботой,
как будто в пригоршне рассматривая что-то,
из-за плеча ее невидимое нам.

(Из романа „Дар”)

* * *

Прощай же, книга! Для видений
отсрочки смертной тоже нет.
С колен поднимется Евгений,
но удаляется поэт.
И все же слух не может сразу
расстаться с музыкой, рассказу
дать замереть... судьба сама
еще звенит, и для ума
внимательного нет границы
там, где поставил точку я:
продленный призрак бытия
синеет за чертой страницы,
как завтрашние облака,
и не кончается строка.

(Из романа „Дар”)

ВЛЮБЛЕННОСТЬ

Мы забываем, что влюбленность
не просто поворот лица,
а под купавами бездонность,
ночная паника пловца.

Покуда снится, снись, влюбленность,
но пробуждением не мучь,
и лучше недоговоренность,
чем эта щель и этот луч.

Напоминаю, что влюбленность
не явь, что метины не те,
что, может быть, потусторонность
приотворилась в темноте.

*(Стихотворение Вадима из романа
„Look at the Harlequins“)
1973 г.*

ПРИМЕЧАНИЯ

Примечания к стихотворениям на страницах 7, 8, 196, 206, 260, 265, 270, 278, 284 и 292 являются переводами, иногда сокращенными, тех примечаний, которыми В. Набоков сам снабдил эти стихи.

Стр. 7. Выражение „летит дождь” заимствовано мной у старого садовника, описанного мной в „Других берегах”, который пользовался им, говоря о легком дожде перед самым выходом солнца. Стихи эти были мною сочинены в парке нашего имения, в последнюю весну, проведенную там моей семьей. Оно было напечатано в сборнике юношеских стихотворений одного моего школьного товарища и моих, „Два пути”, вышедшем в Петрограде, в январе 1918 г., и было положено на музыку композитором Владимиром Ивановичем Полем в начале 1919 г.

Стр. 8. Главный – в сущности единственный – интерес этих строк состоит в том, что они выражают разочарование интеллигенции, приветствовавшей либеральную революцию весной 1917 г. и тяжело переживавшей большевистский реакционный бунт осенью того же года. То, что этот реакционный режим продержался уже больше полустолетия, придает пророческий оттенок трафаретному стихотворению юного поэта. Возможно, что оно было напечатано в одной из ялтинских газет, но ни в один из моих позднейших сборников оно не вошло.

Стр. 196. В строках 17-20 фрейдисты усмотрели „жажду смерти”, а марксисты, не менее нелепо, „жажду искупления феодального греха”. Могу заверить и тех и других, что возглас в этой строфе – чисто риторический, стилистический прием, нарочито подсунутый сюрприз, вроде возведения пешки в более низкий ранг, чем ожидаемый ранг ферзя.

Стр. 206. Написанное свыше сорока лет тому назад, чтобы позабавить приятеля, это стихотворение не могло быть опубликовано ни в одном благопристойном журнале того времени. Манускрипт его только недавно обнаружился среди моих старых бумаг. Догадливый читатель воздержится от поисков в этой абстрактной фантазии какой-либо связи с моей позднейшей прозой.

Стр. 249. Посвящено Владимиру Дмитриевичу Набокову.

Стр. 260. Это стихотворение, опубликованное в журнале под псевдонимом „Василий Шишков”, было написано с целью поймать в ловушку почтенного критика (Г. Адамович, *Последние новости*), который автоматически выражал недовольство по поводу всего, что я писал. Уловка удалась: в своем недельном отчете он с таким красноречивым энтузиазмом приветствовал появление „та-

инственного нового поэта”, что я не мог удержаться от того, чтобы продлить шутку, описав мои встречи с несуществующим Шишковым в рассказе, в котором, среди прочего изюма, был критический разбор самого стихотворения и похвал Адамовича. Строки 26-27: расплывающиеся изумруды рекламы аспирина, находившейся на противоположном берегу Сены.

Стр. 265. Строки 47-48: это предложение обращено к тем, вероятно несуществующим, читателям, которым могло бы быть интересно разгадать намек на связь между Сирином, сказочной птицей славянской мифологии, и Сириным, псевдонимом, под которым автор писал в период между двадцатыми и сороковыми годами, содержащийся в строках 45-47. Строки 75-76: подражание пушкинскому „Памятнику”. Строка 91: анисовое масло употребляется в парфорсной охоте, чтобы намеренно сбить с пути собак, преследующих дичь.

Стр. 270. Строка 13: подражание некрасовской строке „От ликующих, праздно болтающих...” Строки 25-26: „Так он думал” – подражание пушкинским строкам „Так думал молодой повеса...” и т. д. Строка 64: до совсем еще недавнего времени на этой улице Парижа производились публичные казни путем обезглавливания. Строка 69: подражание описанию Днепра в „Страшной мести” Гоголя – „Чуден Днепр при тихой погоде...” и т. д.

Стр. 276. Строки 14-15: туристы, посещавшие советские театры, оставались под глубоким впечатлением от увиденного там диктатора. Строка 35: вспоминается комическое заявление Сталина: „Жить стало лучше, жить стало веселей!” Строки 44-48: здесь на мгновение появляются советский генерал и Адольф Гитлер. Строки 49-50: наша последняя остановка – Тегеран. Строка 52: мелкокалиберный советский поэт, Владимир Владимирович Маяковский, не лишенный некоторого блеска и хватки, но роковым образом развращенный режимом, которому верно служил. Строки 58-59: „монументален” рифмуется довольно точно со „Сталин”, а „переперчил” забавным образом перекликается с фамилией британского политического деятеля в неряшливом русском произношении.

Стр. 278. Строка 1: Качурин, Стефан Мстиславович. Мой бедный друг, бывший полковник Белой Армии, умерший несколько лет тому назад в монастыре на Аляске. Только золотым сердцем, ограниченными умственными способностями и старческим оптимизмом можно оправдать то, что он присоветовал описываемое здесь путешествие. Его дочь вышла замуж за композитора Торнитсена. Строка 7: ссылка на известное стихотворение Лермонтова („В полдневный жар в долине Дагестана...”).

Стр. 284. Заглавие „Неправильные ямбы” основано на том, что, по правилам русской просодии, полуударение никогда не падает на *если*, меж тем как на слове *между* полуударение разрешается по старой традиции. Нет, однако, причины не обращаться с первым из этих двух легких, плавных двусложных слов так же, как и со вторым, особенно в начале ямбической строки.

Стр. 292. Строки 1-4: первая строфа этого стихотворения подражает началу стихотворения Бориса Пастернака, первая строка которого заимствована полностью.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i>	vii
<i>Дождь пролетел</i>	7
<i>К свободе</i>	8
<i>Поэт</i>	9
<i>В хрустальный шар заключены мы были...</i>	11
<i>Ты на небе облачко нежное...</i>	12
<i>Россия</i>	13
<i>Архангелы</i>	14
<i>Тайная вечеря</i>	16
<i>Отрывок</i>	17
<i>Движение</i>	18
<i>Рыцарь</i>	19
<i>Еще безмолвствую</i>	21
<i>Номер в гостинице</i>	22
<i>Акрополь</i>	23
<i>Football</i>	24
<i>La Morte d'Arthur</i>	26
<i>Будь со мной прозрачнее и проще...</i>	27
<i>У камина</i>	28
<i>Людам ты скажешь: настало...</i>	29
<i>Телеграфные столбы</i>	30
<i>Когда, мечтательно склонившись у дверей...</i>	31
<i>В неволе я, в неволе я, в неволе...</i>	32
<i>Романс</i>	33
<i>Ласточки</i>	34
<i>Так будет</i>	35
<i>Я без слез не могу...</i>	36
<i>Каштаны</i>	37
<i>И. А. Бунину</i>	38

Разгорается высь... 39

В раю 40

Пир 41

Тристан 42

1. По водам траурным и лунным... 42

2. Я странник. Я Тристан. Я в рощах спал дуплистых... 43

Облака 44

1. На солнце золотом сверкает дождь летучий... 44

2. Закатные люблю я облака... 45

В поезде 46

Кто меня повезет... 47

Перо 48

Мечтал я о тебе так часто, так давно... 50

Как было бы легко, как песенно, как дружно... 51

От взгляда, лепета, улыбки... 52

Позволь мечтать. Ты первое страданье... 53

Мерцательные тикают пружинки... 54

Рождество 55

Осенние листья 56

Домой 57

Велосипедист 58

Бабочка 60

Кони 61

Пьяный рыцарь 62

Я думаю о ней, о девочке, о дальней... 63

Знаешь веру мою? 64

Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит... 65

Пасха 66

Грибы 67

Ясноокий, как рыцарь из рати Христовой... 68

Волчонок 69

Как объясню? Есть в памяти лучи... 70

В. Ш. 72

Finis 73

Я видел смерть твою, но праздную мольбой... 74

Как затаю, что искони кочую...	75
<i>Жемчуг</i>	76
<i>Сон</i>	77
В каком раю впервые прожурчали...	78
В кастальском переулке есть лавчонка...	80
...И все, что было, все, что будет...	82
Я где-то за городом, в поле...	83
<i>Трамвай</i>	84
<i>Письма</i>	85
День за днем, цветущий и летучий...	86
<i>Эфемеры</i>	87
Ты все глядишь из тучи темносизой...	89
И утро будет: песни, песни...	90
Глаза прикрою — и мгновенно...	91
При луне, когда косую крышу...	93
Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то...	94
<i>Памяти Гумилева</i>	95
<i>Родине</i>	96
<i>Река</i>	97
Когда я по лестнице алмазной...	101
В часы трудов счастливых и угрюмых...	102
О, как ты рвешься в путь крылатый...	103
Я странствую... Но как забыть? Свистящий...	104
Нет, бытие — не зыбкая загадка...	105
<i>Встреча</i>	106
<i>Песня</i>	108
<i>Прованс</i>	110
1. Как жадно затая дыханье...	110
2. Слоняюсь переулками без цели...	111
Зовешь — а в деревце гранатовом соенок...	112
Как бледная заря, мой стих негромок...	113
Ночь свишет, и пожары млечные...	114
Я помню в плюшевой оправе...	115
Санкт-Петербург — узорный иней...	117
<i>Гроза</i>	118

<i>Автобус</i>	120
<i>Барс</i>	122
Милая, нежная – этих старинных...	123
Из мира уползли – и ноют на луне...	124
Я Индией невидимой владею...	125
<i>Видение</i>	126
<i>Об ангелах</i>	128
1. Неземной рассвет блеском облил...	128
2. Представь: мы его встречаем...	129
<i>Смерть</i>	130
<i>Скитальцы</i>	131
<i>На рассвете</i>	133
<i>Гость</i>	134
<i>Кубы</i>	136
<i>Стансы</i>	137
<i>La Bonne Lorraine</i>	139
<i>Молитва</i>	140
<i>Стихи</i>	142
<i>Санкт-Петербург</i>	143
<i>Вечер</i>	144
Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем...	145
<i>Страна стихов</i>	146
<i>Исход</i>	147
<i>Костер</i>	149
<i>Утро</i>	151
<i>В пещере</i>	152
<i>К родине</i>	153
<i>Великан</i>	154
<i>Шекспир</i>	156
<i>Гаданье</i>	158
<i>Мать</i>	160
<i>Герб</i>	161
<i>Конькобежец</i>	162
<i>Весна</i>	163
<i>Берлинская весна</i>	165

1. Нищетой необычной...	165
2. Когда весеннее мечтанье...	166
<i>Сон</i>	167
<i>Воскресение мертвых</i>	169
<i>Крушение</i>	171
<i>Тень</i>	173
<i>Вершина</i>	175
<i>Электричество</i>	176
<i>Прохожий с елкой</i>	178
<i>Лыжный прыжок</i>	179
<i>Ut pictura poesis</i>	181
Пустяк — название мачты, план — и следом...	183
<i>Комната</i>	184
<i>Аэроплан</i>	186
<i>Сны</i>	187
<i>Прелестная пора</i>	189
<i>Годовщина</i>	191
<i>Снимок</i>	193
<i>В раю</i>	195
<i>Расстрел</i>	196
<i>Паломник</i>	197
<i>Сновиденье</i>	199
<i>Билет</i>	201
<i>Родина</i>	202
<i>Кинематограф</i>	203
<i>От счастья влюбленному не спится</i>	205
<i>Лилит</i>	206
<i>Расстрел</i>	209
<i>Острова</i>	210
<i>Кирпичи</i>	211
<i>Сирень</i>	213
<i>К России</i>	214
<i>Стансы о коне</i>	215
Для странствия ночного мне не надо...	217
<i>К музе</i>	219

Тихий шум	221
Облака	223
Перешел ты в новое жилище	224
Вздохнуть поглубже и, до плеч...	225
Воздушный остров	226
Шел поезд между скал в ущелии глубоко...	228
Представление	229
Снег	231
Будущему читателю	232
Первая любовь	233
Ульдаборг	235
Окно	237
Из калмбрудовой поэмы „Ночное путешествие”	238
Формула	243
Помплимусу	244
Неоконченный черновик	245
Вечер на пустыре	246
Сам треугольный, двукрылый, безногий...	249
Безумец	250
Как я люблю тебя	252
<i>L'inconnue de la Seine</i>	254
На закате	256
Иосиф Красный, — не Иосиф...	257
Мы с тобою так верили	258
Что за ночь с памятью случилось	259
Поэты	260
К России	262
Око	264
Вот это мы зовем луной...	269
Парижская поэма	270
Каким бы полотном	275
О правителях	276
К Кн. С. М. Качурину	278
<i>Neuralgia Intercostalis</i>	282
Был день как день	283

<i>Неправильные ямбы</i>	284
Как над стихами силы средней...	285
Целиком в мастерскую высокую...	286
Все, от чего оно сжимается...	287
Вечер дымчат и долог...	288
Какое б счастье или горе...	289
<i>Сон</i>	290
Зимы ли серые смыли...	291
<i>Какое сделал я дурное дело</i>	292
Средь этих лиственниц и сосен...	293
Сорок три или четыре года...	294
<i>С серого севера</i>	295
<i>Пастернак</i>	296
Как любил я стихи Гумилева!	297
<i>В ничтожнейшем гиппопотаме</i>	298
Ах, угонят их в степь, Арлекинов моих...	299

СТИХИ ИЗ РАССКАЗОВ И РОМАНОВ

Из рассказа „Адмиралтейская игла”	303
Из рассказа „Облако, озеро, башня”	303
Из рассказа „Истребление тиранов”	304
Из романа „Дар”	304 - 317
Из романа <i>Look at the Harlequins!</i>	317

НАБОКОВ СТИХИ

Архив